





SHOUT
SHARE **IT**

Annotation

Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад в серии `Жизнь замечательных людей`, осуществленной Ф.Ф.Павленковым (1839–1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют свою ценность и по сей день. Писавшиеся `для простых людей`, для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.

- [С. Н. Кривенко](#)
 - [ГЛАВА I. ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ](#)
 - [ГЛАВА II. ЖИЗНЬ САЛТЫКОВА В ВЯТКЕ](#)
 - [ГЛАВА III. СЛУЖБА И ЛИТЕРАТУРА](#)
 - [ГЛАВА IV. САЛТЫКОВ – РЕДАКТОР “ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ЗАПИСОК”](#)
 - [ГЛАВА V. САЛТЫКОВ КАК ПИСАТЕЛЬ И СЕМЬЯНИН](#)
 - [ГЛАВА VI. САЛТЫКОВ КАК МИРСКОЙ ЧЕЛОВЕК](#)
- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)

С. Н. Кривенко

Михаил Салтыков-Щедрин. Его жизнь и литературная деятельность

*Биографический очерк С. Н.
Кривенко.*

*С портретом М. Е. Салтыкова,
гравированным в Лейпциге
Геданом.*

ГЛАВА I. ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ

Первые детские воспоминания Салтыкова. – “Нежное” воспитание. Отсутствие родительской ласки. – Недостаток общения с природой. – Влияние Евангелия на детскую душу Салтыкова. – Живописец Павел и первые учителя. – Московский дворянский институт. – Лицей. – Преследование за чтение книг и сочинение стихов. – Лицейские “продолжатели Пушкина”. – Несколько юношеских стихотворений Салтыкова. – Нелюдимость лицеиста. – Увлечение Францией

Близость смерти не позволяет обыкновенно видеть настоящей величины заслуг человека, и в то время, как заслуги одних преувеличиваются, заслуги других представляются несомненно в преуменьшенном виде, хотя бы в наличности их никто не сомневался и даже враги воздавали им молчаливо известную дань уважения. Последнее относится и к Михаилу Евграфовичу Салтыкову.

Мало на Руси имен, которые говорили бы так много уму и сердцу, как его имя; мало писателей, которые имели при жизни такое влияние и оставили обществу такое обширное литературное наследство, наследство богатое и разнообразное как в отношении внутреннего содержания, так и со стороны внешней формы и совсем особого языка, который при жизни еще начал называться “салтыковским”. Примыкая по роду творчества непосредственно к Гоголю, он нисколько не уступает ему ни в оригинальности, ни в силе дарования. Мало, наконец, людей, которые отличались бы таким цельным характером и прошли бы с такую честью жизненное поприще, как он.

Родился Михаил Евграфович 15 января 1826 года в селе Спас-Угол Калязинского уезда Тверской губернии. Родители его – отец, коллежский советник, Евграф Васильевич, и мать, Ольга Михайловна, урожденная Забелина, купеческого рода, – были довольно богатые местные помещики; крестили же его тетка Марья Васильевна Салтыкова и угличский мещанин Дмитрий Михайлович Курбатов. Последний попал восприемником в дворянский дом по довольно исключительному предшествовавшему обстоятельству, о котором Салтыков рассказывает в шутиливом тоне и лично, и потом в “Пошехонской старине”, где Курбатов выведен под фамилией Бархатова. Этот Курбатов славился своею набожностью и прозорливостью и, ходя постоянно на богомолье по монастырям, заходил по пути и гостил довольно подолгу у Салтыковых. Случилось ему таким же образом зайти к ним и в 1826 году, незадолго перед тем, как

родиться Михаилу Евграфовичу. На вопрос Ольги Михайловны, кто у нее родится – сын или дочь, он отвечал: “Петушок, петушок, востер ноготок! Многих супостатов покорит и будет женским разгонником”. Когда родился действительно сын, то его и назвали Михаилом, в честь Михаила-архангела, а Курбатова пригласили в крестные отцы.

Воспитание помещичьих детей велось в ту пору по довольно распространенному шаблону, носило какой-то сокращенный, точно заводской, характер и не изобиловало родительским вниманием: детей растили и воспитывали обыкновенно на особой половине сначала кормилицы, а потом няньки и гувернантки или дядьки и гувернеры, потом учили их лет до десяти приходские священники и какие-нибудь “домашние учителя”, нередко из своих же крепостных, а затем их сбывали в учебные заведения, преимущественно в казенные, или в какие-нибудь приготовительные пансионы. Воспитание это и вообще-то нельзя назвать рациональным, а салтыковское тем более из-за суровости домашнего режима и той довольно исключительной семейной обстановки, какая создавалась на почве крепостного права, и подчинения бесхарактерного отца практичной, деловитой матерью, которая больше всего думала о хозяйстве. Много видел маленький Салтыков и крепостной, и семейной неправды, оскорблявшей человеческое достоинство и угнетавшей впечатлительную детскую душу; но даровитая натура его не сломилась, а напротив, точно закалялась в испытании и собиралась с силами, чтобы впоследствии широко расправить крылья над человеческою неправдою вообще. Однажды мы заговорили с ним о памяти, – с какого возраста человек начинает помнить себя и окружающее, – и он мне сказал: “А знаете, с какого момента началась моя память? Помню, что меня секут, кто именно, не помню; но секут как следует, розгою, а немка – гувернантка старших моих братьев и сестер – заступает за меня, закрывает ладонью от ударов и говорит, что я слишком еще мал для этого. Было мне тогда, должно быть, года два, не больше”. Вообще, детство Салтыкова не изобилует светлыми впечатлениями.

“Пошехонская старина”, имеющая, несомненно, автобиографическое значение, переполнена самыми грустными красками и дает если не буквально точную, то во всяком случае довольно близкую картину его домашнего воспитания в период до десятилетнего возраста. Михаилу Евграфовичу пришлось расти и учиться отдельно от старших братьев, которые были в то время уже в учебных заведениях, но все-таки он помнил и их детство и испытал на себе, хотя и в меньшей степени, тот же

воспитательный уклад, в котором телесные наказания в разных видах и формах являлись главным педагогическим приемом. Детей ставили на колени, рвали за вихры и за уши, секли, а чаще всего кормили подзатыльниками и колотушками как способом более сподручным.

“Припоминается непрерывный детский плач, неумолкаемые детские стоны за классным столом, – заставляет он говорить своего Затрапезного, – припоминается целая свита гувернантов, следовавших одна за другой и с непонятной для нынешнего времени жестокостью сыпавших колотушками направо и налево... Все они бесчеловечно дрались, а Марью Андреевну (дочь московского немца-сапожника) даже строгая наша мать называла фурией. Так что во все время ее пребывания уши у детей постоянно бывали покрыты болячками”.

Родители оставались ко всему этому равнодушны, а мать обыкновенно даже усиливала наказание. Она являлась высшей карательной инстанцией. Салтыков не любил вспоминать своего детства, а когда вспоминал какие-нибудь отдельные его черты, то вспоминал всегда с большой горечью. Никого лично он при этом не винил, а говорил, что тогда весь строй, весь порядок жизни и отношений был таким. Ни сами каравшие и расточавшие кары не сознавали себя жестокими, ни посторонние так не смотрели на них; тогда просто говорилось: “С детьми без этого нельзя”, и в этом-то и был весь ужас, гораздо больший личных ужасов, потому что он-то и делал их возможными и давал им права гражданства. Внешней обстановкою детства, в смысле гигиены, опрятности и питания, также нельзя было похвалиться. Хотя в доме было достаточно больших и светлых комнат, но это были комнаты *парадные*, дети же постоянно теснились днем в небольшой классной комнате, а ночью в общей детской, тоже маленькой и с низеньким потолком, где стояло несколько детских кроваток, а на полу, на войлоках, спали няньки. Летом дети еще сколько-нибудь оживлялись под влиянием свежего воздуха, но зимой их положительно закупори́вали в четырех стенах и ни единой струи свежего воздуха не доходило до них, потому что форточек в доме не водилось, и комнатная атмосфера освежалась только топкою печей. Одно только знали – топить пожарче и хорошенько закутывать. Это называлось *нежным* воспитанием. Очень возможно, что вследствие именно таких гигиенических условий Салтыков и оказался впоследствии таким хилым и болезненным. Опрятность также плохо соблюдалась: детские комнаты нередко оставались неметенными; одежда на детях была плохая, чаще всего перешитая из чего-нибудь старого или переходившая от старших к младшим. Прибавьте к этому еще прислугу, одетую в

какую-то вонючую, заплатанную рвань. То же можно сказать и о питании: оно было очень скудным. В этом отношении помещичьи семьи делились на две категории: в одних еда возводилась в какой-то культ, ели целый день, проедали целые состояния и детей тоже пичкали, перекармливали и делали обжорами; в других, наоборот, господствовала не то что бы скупость, а какое-то непонятное скопидомство: всегда казалось мало, и всего было жаль. Сараи, ледники, подвалы и кладовые ломились от провизии, готовилось много кушаний, но не для себя, а для гостей; себе же на стол подавались остатки и то, что начинало уже портиться и залеживалось; на скотном дворе стояло по ста и более коров, а к чаю подавалось снятое, синее молоко, и т. п.

Такого рода порядок, да еще в усиленной степени, был и в семье Салтыковых. Но нравственно-педагогические условия воспитания были еще ниже физических. Между отцом и матерью происходили постоянные ссоры. Подчинившись матери и сознавая свою приниженность, отец отплачивал за это тем, что при всяком случае осыпал ее бессильной руганью, упреками и укоризнами. Дети были невольными свидетелями этой брани, ничего в ней не понимали, а видели только, что сила на стороне матери, но что она чем-то кровно обидела отца, хотя обыкновенно и выслушивает молча его брань, и чувствовали поэтому к ней безотчетный страх, а к нему как к человеку бесхарактерному и не могшему защитить не только их, но и себя, полное безучастие. Салтыков говорил, что ни отец, ни мать не занимались ими, что росли они, как посторонние, и что он, по крайней мере, совсем не знал того, что называется родительскою ласкою. Любимчиков еще своеобразно ласкали, остальных – нет. Само это разделение детей на любимых и нелюбимых должно было портить первых и глубоко оскорблять вторых. Затем, если несправедливые и суровые наказания действовали ожесточающим образом на детей, то поступки и разговоры, при них происходившие, распахивали перед ними всю изнанку жизни; а старшие, к сожалению, даже на короткое время не считали нужным сдерживаться и без малейшего стеснения выворачивали и крепостную, и всякую иную тину.

Не раз Салтыков жаловался на отсутствие в детстве общения с природой, на отсутствие непосредственной и живой связи с ее привольем, с ее теплом и светом, оказывающими такое благотворное влияние на человека, которое наполняет все его существо и проходит потом через всю его жизнь. И вот что мы читаем в “Пошехонской старине” от лица Затрапезного: “...с природою мы знакомились случайно и урывками – только во время переездов на долгих в Москву или из одного имения в

другое. Остальное время все кругом нас было темно и безмолвно”. Ни о какой охоте никто и понятия не имел; изредка собирали грибы и ловили карасей в пруду, но “ловля эта имела характер чисто хозяйственный и с природой не имела ничего общего”; затем, ни зверей, ни птиц в живом виде в доме не водилось, так что и зверей, и птиц “мы знали только в соленом, вареном и жареном виде”. Сказалось это и на его произведениях: описания природы у него редко встречаются, и он далеко не такой мастер на подобные описания, как, например, Тургенев, Лермонтов, Аксаков и другие. Впрочем, не особенно много радостей могла дать ребенку и северная природа – природа бедная и угрюмая, производившая, в свою очередь, удручающее впечатление не какою-нибудь величественною суровостью, а именно бедностью, неприветливостью и сереньким колоритом. Местность, где родился Салтыков и где протекло его детство, даже в захолустной стороне было захолустьем. Это была равнина, покрытая хвойным лесом и болотами, тянувшимися без перерыва на многие десятки верст. Леса горели, гнили на корню и загромождались валежником и буреломом; болота заражали окрестность миазмами, дороги не просыхали в самые сильные летние жары, а текучей воды было мало. Небольшие речушки еле текли среди топких болот, то образуя стоячие бочаги, то совсем теряясь под густою пеленой водяных зарослей. Летом воздух был насыщен испарениями и наполнен тучами насекомых, которые не давали покоя ни людям, ни животным.

В детстве Салтыкова было два обстоятельства, благоприятствовавших его развитию и сохранению в нем той искры Божией, которая потом так ярко горела. Одно из этих обстоятельств, в сущности, отрицательного свойства – то, что он рос отдельно и что за ним некоторое время было меньше надзора, – дало, однако, положительный результат: он больше думал, сосредоточивался мыслью на себе и окружающем и стал самостоятельно читать и заниматься, приучаясь к самостоятельности и самостоятельности, к тому, чтобы полагаться на себя и верить в свои силы. Читать было почти нечего, так как в доме почти не было книг, а потому он читал оставшиеся от старших братьев учебники. Среди них особенное впечатление произвело на него Евангелие. Это-то вот и было вторым обстоятельством, оказавшим на него самое решительное влияние. Вспоминал он о нем потом как о животворном луче, внезапно ворвавшимся в его жизнь и осветившем и собственное его существование, и окружавший его мрак. Познакомился он с Евангелием не схоластически, а воспринял его непосредственно детскою душою. Ему было тогда восемь-девять лет. Мы не

сомневаемся, что в лице Затрапезного он вспоминает именно о своем знакомстве с “Чтением из четырех евангелистов”. Вот эти чудные строки:

“Главное, что я почерпнул из чтения Евангелия, заключалось в том, что оно посеяло в моем сердце зачатки общечеловеческой совести и вызвало из недр моего существа нечто устойчивое, *свое*, благодаря которому господствующий жизненный уклад уже не так легко поработил меня. При содействии этих новых элементов я приобрел более или менее твердое основание для оценки как собственных действий, так и явлений и поступков, совершавшихся в окружающей меня среде... начал сознавать себя человеком. Мало того: право на это сознание я переносил и на других. Доселе я ничего не знал ни об алчущих, ни о жаждущих и обремененных, а видел только людские особи, сложившиеся под влиянием несокрушимого порядка вещей; теперь эти униженные и оскорбленные встали передо мной, осиянные светом, и громко вопияли против прирожденной несправедливости, которая ничего не дала им, кроме оков... И возбужденная мысль невольно переносилась к конкретной действительности в девичью, в застольную, где задыхались десятки поруганных и замученных человеческих существ... Я даже с уверенностью могу утверждать, что момент этот имел несомненное влияние на весь позднейший склад моего мирозерцания. В этом признании человеческого образа там, где, по силе общеустановившегося убеждения, существовал только поруганный образ раба, состоял главный и существенный результат, вынесенный мною из тех попыток самообучения, которым я предавался в течение года”.

Не могу удержаться, чтобы не привести еще следующего замечательного по глубине чувства места, которое говорит о росте сочувствия и тяготения Салтыкова к народу, – процесс, показывающий понимание народного настроения и близкую, органическую связь этого настроения с его собственным душевным состоянием:

“Я понимаю, что религиозность самая горячая может быть доступна не только начетчикам и богословам, но и людям, не имеющим ясного понятия о значении слова “религия”. Я понимаю, что самый неразвитый, задавленный ярмом простолюдин имеет полное право называть себя религиозным, несмотря на то, что приносит в храм вместо формулированной молитвы только измученное сердце, слезы и переполненную вздохами грудь. Эти слезы и вздыхания представляют собой бессловную молитву, которая облегчает его душу

и просветляет его существо. Под наитием ее он искренно и горячо верит. Он верит, что в мире есть нечто высшее, нежели дикий произвол, что есть в мире Правда и что в недрах ее кроется Чудо, которое придет к нему на помощь и изведет его из тьмы. Пускай каждый новый день удостоверяет его, что колдовству нет конца; пускай вериги рабства с каждым часом все глубже и глубже впиваются в его изможденное тело... Он верит, что злосчастье его не бессрочно и что наступит минута, когда Правда осияет его наравне с другими алчущими и жаждущими. И вера его будет жить до тех пор, пока в глазах не иссякнет источник слез и не замрет в груди последний вздох. Да! Колдовство рушится, цепи рабства падут, явится свет, которого не победит тьма! Ежели не жизнь, то смерть совершит это чудо. Недаром у подножия храма, в котором он молится, находится сельское кладбище, где сложили кости его отцы. И они молились тою же бессловною молитвой, и они верили в то же чудо. И чудо свершилось: пришла смерть и возвестила им свободу. В свою очередь она придет и к нему, верующему сыну веровавших отцов, и свободному даст крылья, чтобы лететь в царство свободы, навстречу свободным отцам...”

В другом месте, от лица того же Затрапезного, Салтыков говорит еще определеннее:

“Крепостное право сближало меня с подневольной массой. Это может показаться странным, но я и теперь еще сознаю, что крепостное право играло громадную роль в моей жизни, и что только пережив все его фазисы, я мог прийти к полному сознательному и страстному отрицанию его”.

Вообще, “Пошехонская старина” представляет большой интерес по отношению к автору, потому что бросает свет не только на детскую, но и на всю последующую его жизнь. Хотя он там и появляется только эпизодически, на фоне общей бытовой картины, хотя мы и не можем следить за ним день за днем, но все-таки видно, как, под какими влияниями и из каких элементов слагался его характер, его умственный и нравственный облик. Повторяем: нельзя, разумеется, утверждать, что все именно так и было, как там рассказано, но многое из того, что Салтыков лично рассказывал при жизни, воспроизведено им с буквальной точностью, даже некоторые имена сохранены (например,

принимавшей его повивальной бабки, калязинской мещанки Ульяны Ивановны, первого его учителя Павла и т. п.) или только отчасти изменены.

Первым его учителем был свой же крепостной человек, живописец Павел, которому в самый день рождения Михаила Евграфовича 15 января 1833 года, то есть когда ему исполнилось семь лет, приказано было приступить к обучению его грамоте, что он и сделал, придя в класс с *указкою* и начав с азбуки. Тут есть некоторая неточность: рассказывая о первом уроке Павла Затрапезному, он говорит, что до этого он ни читать, ни писать – ни по-каковски, даже по-русски, не умел, а выучился только возле старших братьев и сестер болтать по-французски и по-немецки да заучивать по настоянию гувернанток и говорить в дни именин и рождений родителей поздравительные стихи; между тем приведенное в 5-й главе “Пошехонской старины” французское стихотворение оказалось среди бумаг Салтыкова и было написано детским почерком и подписано так: “écrit par votre très humble fils Michel Saltykoff. Le 16 octobre 1832”. Мальчику тогда не было еще и семи лет, следовательно, можно сделать одно из двух предположений: или что он читал и писал по-французски раньше, чем по-русски, или что стихотворение было написано от его имени кем-нибудь из старших детей. Но это – незначительная неточность, на которой не стоит и останавливаться.

В 1834 году вышла из Московского Екатерининского института старшая сестра Михаила Евграфовича Салтыкова, Надежда Евграфовна, и дальнейшее обучение его было вверено ей и ее товарке по институту Авдотье Петровне Василевской, поступившей в дом в качестве гувернантки. Им помогали священник села Заозерья, о. Иван Васильевич, обучавший Салтыкова латинскому языку по грамматике Кошанского, и студент Троицкой духовной академии Матвей Петрович Салмин, которого приглашали два года кряду на летние вакации. Занимался Салтыков усердно и настолько хорошо, что в августе 1836 года был принят в третий класс шестиклассного в то время Московского дворянского института, только что преобразованного из университетского пансиона. Однако в третьем классе ему пришлось пробыть два года; но это не вследствие дурных успехов, а исключительно по малолетству. Учился он по-прежнему хорошо и в 1838 году был переведен в качестве *отличнейшего* ученика в лицей. Московский дворянский институт пользовался преимуществом отправлять в лицей каждые полтора года двух лучших учеников, куда они поступали на казенное содержание, и одним из таких и был Салтыков.

В лицее, уже в первом классе, он почувствовал влечение к

литературе и стал писать стихи. За это, а также и за чтение книг он терпел всевозможные преследования как со стороны гувернеров и лицейского начальства, так и в особенности со стороны учителя русского языка Гроздова. Таланта его, очевидно, не признавали. Он вынужден был прятать стихи, особенно если содержание их могло показаться предосудительным, в рукава куртки и даже в сапоги, но контрабанда отыскивалась, и это оказывало сильное влияние на отметки по поведению: в течение всего времени пребывания в лицее он почти не получал, при 12-балльной системе, свыше 9 баллов до самых последних месяцев перед выпуском, когда обыкновенно всем ставился полный балл. Поэтому в выданном ему аттестате значится: “при довольно хорошем поведении”, а это значит, что средний балл по поведению за последние два года был ниже восьми. И все это началось со стихов, к которым впоследствии присоединились “грубости”, то есть расстегнутая пуговица на куртке или мундире, ношение треуголки с “поля”, а не по форме (что было необыкновенно трудно и составляло само по себе целую науку), курение табака и иные школьные преступления.

Начиная со 2-го класса в лицее позволялось воспитанникам выписывать за свой счет журналы. Таким образом, Салтыковым получались: “Отечественные записки”, “Библиотека для чтения” (Сенковского), “Сын Отечества” (Полевого), “Маяк” (Бурачка) и “Revue Etrangère”. Журналы читались воспитанниками с жадностью; особенно сильным было влияние “Отечественных записок”, где писал критические статьи Белинский. Вообще, влияние литературы было тогда очень сильно в лицее: воспоминание о недавно погибшем Пушкине как будто обязывало нести его знамя и на каждом курсе предполагался его продолжатель. Такими продолжателями считались В. Р. Зотов, Н. П. Семенов (сенатор), Л. А. Мей, В. П. Гаевский и другие, в том числе и Салтыков. Первое стихотворение его “Лира” было напечатано в “Библиотеке для чтения” 1841 года за подписью С-в. В 1842 году появилось там же другое его стихотворение “Две жизни” за подписью С. Затем произведения его появляются в “Современнике” (Плетнева): в 1844 году – “Наш век”, “Весна” и два перевода, из Гейне и Байрона; в 1845 году – “Зимняя элегия”, “Вечер” и “Музыка”. Под всеми этими стихотворениями подпись: М. Салтыков. Он в это время уже вышел из лицея, но стихи эти были написаны еще там. Больше в стихотворной форме он, по-видимому, ничего не писал, по крайней мере, не печатал, а отдавал в печать только то, что уже было в портфеле, и отдавал не в порядке написания, а как случится: позже написанные вещи – раньше, а ранние – позже. Мы приведем некоторые из этих

стихотворений как для того, чтобы показать, как Салтыков писал стихи, так и для того, чтобы видеть отражавшееся в них душевное настроение юноши – будущего выдающегося писателя.

Рыбачке

(Из Гейне. 1841)

О, милая девочка! быстро
Челнок свой направь ты ко мне!
Сядь рядом со мною, и тихо
Беседовать будем во тьме.
И к сердцу страдальца ты крепко
Головку младую прижми —
Ведь морю себя ты вверяешь
И в бурю, и в ясные дни.
А сердце мое – то же море —
Бушует оно и кипит,
И много сокровищ бесценных
На дне своем ясном хранит.

Музыка (1843)

Я помню вечер: ты играла,
Я звукам с ужасом внимал,
Луна кровавая мерцала —
И мрачен был старинный зал.
Твой мертвый лик, твои страдания,
Могильный блеск твоих очей
И уст холодное дыхание,
И трепетание грудей —
Все мрачный холод навевало.
Играла ты... я весь дрожал,
А эхо звуки повторяло,
И страшен был старинный зал...
Играй, играй: пускай терзанье
Наполнит душу мне тоской;
Моя любовь живет страданьем
И страшен ей покой!

В наш странный век все грустью поражает.
Немудрено: привыкли мы встречать
Работой каждый день; все налагает
Нам на душу особую печать,
Мы жить спешим. Без цели, без значенья
Жизнь тянется, проходит день за днем —
Куда, к чему? Не знаем мы о том.
Вся наша жизнь есть смутный род сомненья.
Мы в тяжкий сон живем погружены.
Как скучно все: младенческие грезы
Какой-то тайной грустию полны,
И шутка как-то сказана сквозь слезы!
И лира наша вслед за жизнью веет
Ужасной пустотою: тяжело!
Усталый ум безвременно коснеет,
И чувство в нем молчит, усыплено.
Что ж в жизни есть веселого? Невольно
Немая скорбь на душу набегит
И тень сомненья сердце омрачит...
Нет, право, жить и грустно, да и больно!..

Меланхолическое настроение автора, грусть и вопросы, зачем жизнь идет так печально и что этому причиной, – слышатся определенно и звучат искренностью и глубиной. Тогдашняя жизнь действительно мало представляла отрадного и изобиловала тяжелыми картинами бесправия и произвола. Для этого не надо было долго жить и далеко ходить, а достаточно было видеть одно крепостное право. Но вы чувствуете, что настроение это не отдает разочарованием, которое заставляет складывать руки, не похоже также и на бесплодную меланхолию, а, напротив, в нем слышится уже нота действенной любви (“моя любовь живет страданьем и страшен ей покой!”), которая потом все ярче и ярче разгоралась и не потухала до самых последних его дней. Стихи писать он скоро перестал, – потому ли, что они ему не давались, или что самая форма не соответствовала складу его ума, – но настроение осталось, и мысль продолжала работать в том же направлении.

“Еще в стенах лица, – говорит г-н Скабичевский, – Салтыков оставил свои мечты сделаться вторым Пушкиным. Впоследствии он даже не любил, когда кто-либо напоминал ему о стихотворных грехах его молодости, краснея, хмурясь при этом случае и

стараясь всячески замять разговор. Однажды он высказал даже о поэтах парадокс, что все они, по его мнению, сумасшедшие люди. “Помилуйте, – объяснял он, – разве это не сумасшествие, по целым часам ломать голову, чтобы живую, естественную человеческую речь втискивать, во что бы то ни стало, в размеренные рифмованные строчки! Это все равно, что кто-нибудь вздумал бы вдруг ходить не иначе, как по разостланной веревочке, да непременно еще на каждом шагу приседая”. “Конечно, – добавляет г-н Скабичевский, – это была не больше как одна из сатирических гипербол великого юмориста, потому что на самом деле он был тонкий знаток и ценитель хороших стихов, и Некрасов постоянно ему одному из первых читал свои новые стихотворения”.

Ко времени, о котором мы говорим, относятся несколько строк А. Я. Головачевой о Салтыкове-лицейсте в ее литературных “Воспоминаниях”: “...я видела его в начале сороковых годов в доме М. Я. Языкова. Он и тогда не отличался веселым выражением лица. Его большие серые глаза сурово смотрели на всех, и он всегда молчал. Он всегда садился не в той комнате, где сидели все гости, а помещался в другой, против дверей, и оттуда внимательно слушал разговоры”. Улыбка “мрачного лицейста” считалась чудом. По словам Языкова, Салтыков ходил к нему, “чтобы посмотреть на литераторов”. Мысль сделаться и самому литератором, очевидно, глубоко засела в нем. Кроме того, как мы уже сказали, в лицее того времени интересовались литературой и много читали, чтение само собой вызывало вопросы, которые волновали и мучили, требовали ответов и порождали естественное желание слышать живое слово умных людей. Кроме выписывавшихся периодических изданий, в лицее читали и многое другое. К. К. Арсеньев говорит в “Материалах для биографии М. Е. Салтыкова”, что “даже в конце сороковых, в начале пятидесятых годов, после грозы 1848 года, после дела петрашевцев, в котором не случайно оказались замешанными многие из бывших лицейстов (Петрашевский, Спешнев, Кашкин, Европеус), между воспитанниками лицея бродили еще идеи, вдохновлявшие юношу Салтыкова”.

Вышел Салтыков из лицея по первому разряду. В то время, как и теперь, из лицея выпускали окончивших курс с чином IX, X и XII классов, смотря по успехам в науках и “поведении”. Так как Салтыков получал плохие баллы за *поведение* и *по предметам* особенно не старался, то и вышел с чином X класса, семнадцатым по списку. Из 22 учеников выпуска 1844 года 12 человек были выпущены IX классом, 5-X и 5-XII. К средней группе и принадлежал наш лицейст. Любопытно, что с чином X же класса

вышли из лица и Пушкин, и Дельвиг, и Мей. Из товарищей Салтыкова по лицу, бывших в одно время с ним как на его, так и на других курсах, никто не составил себе такого крупного литературного имени, как он, хотя многие писали и пробовали писать; в отношении общественной деятельности также нет более выдающегося имени; а по службе многие достигли высоких положений: например, граф А. П. Бобринский, князь Лобанов-Ростовский (посол в Вене) и другие. По окончании курса Салтыков поступил на службу в канцелярию военного министерства при графе Чернышеве.

Он не сохранил о лицее хороших воспоминаний и не любил вспоминать о нем. “Помню я школу, – писал он лет через десять после выпуска в одном из своих очерков, – но как-то угрюмо и неприветливо воскресает она в моем воображении...” Наоборот, время юности, юношеские надежды и верования, страстное стремление из непроглядной тьмы к свету и правде, товарищи, стремившиеся к тем же идеалам, с которыми он вместе думал и волновался, вспоминаются им не раз и с удовольствием. Сравнивая то, что было в тогдашней дореформенной России, с тем, что было в Европе, молодежь особенно увлекалась Францией.

“С представлением о Франции и Париже, – читаем мы в другом очерке Салтыкова, – для меня неразрывно связывается воспоминание о моем юношестве, то есть о сороковых годах. Да и не только для меня лично, но и для всех нас, сверстников, в этих двух словах заключалось нечто лучезарное, светоносное, что согревало нашу жизнь и в известном смысле даже определяло ее содержание. Как известно, в сороковых годах русская литература (а за нею, конечно, и молодая читающая публика) поделилась на два лагеря: западников и славянофилов. Был еще третий лагерь, в котором копошились Булгарины, Брандты, Кукольники и т. п., но этот лагерь уже не имел ни малейшего влияния на подрастающее поколение, и мы знали его лишь настолько, насколько он являл себя прикосновенным к ведомству управы благочиния. Я в то время только что оставил школьную скамью и, воспитанный на статьях Белинского, естественно примкнул к западникам”.

Рассказывая дальше, что примкнул он, собственно, не к наиболее обширному и *единственно авторитетному* тогда в литературе кружку западников, который занимался немецкой философией, а к кружку безвестному, инстинктивно прилепившемуся к французским идеалистам, к Франции не официальной, а к той, которая стремилась к лучшему и ставила широкие задачи человечеству, Салтыков говорит: во Франции “все было ясно как день... все как будто только что начиналось. И не только теперь, в эту минуту, а больше полу столетия сряду все

начиналось, и опять, и опять начиналось, и не заявляло ни малейшего желания кончиться. Мы с неподдельным волнением следили за перипетиями драмы последних двух лет царствования Луи-Филиппа и с упоением зачитывались “Историей десятилетия”... Луи-Филипп и Гизо, и Дюшатель, и Тьер, – все это были как бы личные враги, успех которых огорчал, неуспех радовал. Процесс министра Теста, агитация в пользу избирательной реформы, высокомерные речи Гизо... все это и теперь так живо встает в моей памяти, как будто происходило вчера”. “Франция казалась страной чудес. Можно ли было, имея в груди молодое сердце, не пленяться этою неистощимостью жизненного творчества, которое, вдобавок, отнюдь не соглашалось сосредоточиться в определенных границах, а рвалось захватить все дальше и дальше?”

Если к этому прибавить, что Салтыков был русским человеком в лучшем значении этого слова, крепко был связан всем своим существом с русской жизнью и горячо любил родную страну и народ, любил их совсем не сентиментальною, а живою и действенную любовью, которая не закрывает глаз на недостатки и темные стороны, а ищет способов к их устранению и путей к счастью, то увидим, что он вступил в жизнь если не вполне готовым человеком, то человеком во всяком случае уже с довольно определенным мирозерцанием и довольно определенным критерием, которым оставалось только развиваться дальше и укрепнуть. Любовь Салтыкова к России редко высказывалась в каких-нибудь славословиях, но сказывалась так часто и в стольких произведениях, что я затруднил бы читателя доказательствами и цитатами. Жалуясь на недостаток общения с природой в детстве, описывая скучную северную природу того захолустья, в котором ему суждено было родиться, он и к ней проникается совсем особенною нежностью и любовью. Еще в “Губернских очерках” мы читаем следующее:

“Я люблю эту бедную природу, может быть, потому, что, какова она ни есть, она все-таки принадлежит мне; она сроднилась со мной точно так же, как и я сжился с ней; она лелеяла мою молодость; она была свидетельницей первых тревог моего сердца, и с тех пор ей принадлежит лучшая часть меня самого. Перенесите меня в Швейцарию, в Индию, в Германию, окружите какую хотите роскошною природою, накиньте на эту природу какое хотите прозрачное и синее небо – я все-таки везде найду милые серенькие тоны моей родины, потому что я всюду и всегда ношу их в моем сердце, потому что душа моя хранит их как лучшее свое достояние”.

ГЛАВА II. ЖИЗНЬ САЛТЫКОВА В ВЯТКЕ

В канцелярии военного министра. – Первые две повести: “Противоречие” и “Запутанное дело”. – Чиновник особых поручений и советник губернского правления. – Дело о прекращении беспорядков в Трушниковской волости. – Доклад Салтыкова о бедственном положении крестьян и ходатайство о наделении их достаточным количеством земли. – Вятское общество времен Салтыкова. – Недовольство провинций. – “Краткая история России”, написанная Салтыковым для дочерей Болтина. – Биография Беккариа. – Заметка об идее права

23 августа 1844 года Салтыков был зачислен в канцелярию военного министра, а через два года, в августе 1846-го, получил там место помощника секретаря и, конечно, не думал, что скоро ему предстоит проститься с Петербургом и отправиться на службу в Вятку. Причиной последнего была тоже литература, к которой его продолжало тянуть. Первыми его произведениями были рецензии некоторых новых книг в отделе библиографической хроники “Отечественных записок” (преимущественно учебников и для детского возраста). До 1846 года отделом этим заведовал Белинский, потом, до половины 1847-го, главную роль играл в нем Валерьян Майков, а после его смерти дело велось, по-видимому, коллективно. В 1847 году, в ноябрьской книжке тех же “Отечественных записок”, была напечатана первая повесть Салтыкова “Противоречия” под псевдонимом “М. Непанов”, посвященная В. А. Милютину, родному брату Николая и Дмитрия Алексеевичей. В. А. Милютин и В. Майков, оба рано умершие, были талантливыми и многообещающими молодыми писателями, первый – в области политических и социальных наук, второй – в критике. Салтыков вспоминал о них не раз, когда заходила речь о том времени.

Первому своему беллетристическому опыту он не придавал серьезного значения и не включал повесть “Противоречия” ни в одно из изданий своих произведений, не исключая и последнего, которое хотя и вышло уже после его смерти, но состав которого был точно определен им самим. Затем в марте 1848 года появилась в “Отечественных записках” вторая его повесть, “Запутанное дело”, которая и послужила поводом к высылке его в Вятку. Может быть, этого и не случилось бы, если бы не произошло во Франции февральской революции и мартовского

движения в Германии, потому что основная мысль повести – сочувствие бедным и униженным – только с большой натяжкой могла быть истолкована в смысле прямого и непозволительного порицания общественного строя. К этому присоединилось еще то, что находили некоторое сходство между действительными лицами и изображенными. В повести усматривалось влияние Ж. Санд и других французских писателей, проповедовавших свободу и социалистические учения и распространением идей которых главным образом объяснялось революционное брожение в Европе.

Согласно биографическому очерку “Русской библиотеки”, просмотренному и одобренному самим Салтыковым, было обращено особое внимание на обе его повести, хотя они и были пропущены цензурой и не имели его подписи (вторая была подписана только инициалами М. С.). Очень возможно, что были приняты в соображение обе повести, но главные пункты обвинения все-таки были направлены против второй. Сам Салтыков говорит: “В марте-месяце я написал повесть (“Запутанное дело”), а в мае уже был зачислен в штат вятского губернского правления”. Само же дело происходило так: “Надо же было случиться, – говорит г-н Скабичевский, – чтобы одним из первых распоряжений комитета было строгое замечание военному министру за цензурные неисправности в “Русском инвалиде”. Это обстоятельство вооружило графа Чернышева против литераторов, и, как нарочно, в то время как граф Чернышев находился еще под впечатлением полученного им замечания, явился к нему Салтыков как подчиненный проситься в отпуск...” Упустивши совсем из виду, что чиновник его занимается литературой, граф Чернышев тут только вспомнил об этом и спросил Салтыкова: “Вы, кажется, в журналах пишете?” На утвердительный ответ граф Чернышев потребовал, чтобы он представил ему свои сочинения, а потом, мол, “мы и посмотрим, можно ли вас отпустить...” Салтыков представил ему свои два рассказа, а тот поручил Н. Кукольникову написать о них доклад. Заклятый враг натуральной школы, Кукольник представил ему такой доклад, что “граф Чернышев только ужаснулся, что такой опасный человек служит в его министерстве”, и тотчас же препроводил доклад в бутурлинский комитет, а Салтыкова уволил из министерства.

28 апреля 1848 года он был отправлен в Вятку.

О жизни Михаила Евграфовича в Вятке, к сожалению, до сих пор мало что известно. Одно только можно сказать, что жизнь он вел деятельную, и что его выдающиеся способности не заглохли и нашли и там приложение. Сначала он был зачислен в канцелярские чиновники при губернском правлении, т. е. понижен по службе, поставлен в самые последние ее ряды; но с

осени того же года положение его улучшилось: он был назначен старшим чиновником особых поручений при губернаторе. Губернатором в то время в Вятке был Серeda. Он не мог не оценить молодого чиновника, резко выделявшегося из среды провинциальной бюрократии и образованием своим, и знанием дела. Салтыков два раза при нем исправлял должность правителя губернаторской канцелярии; сверх того ему было поручено составление по городам Вятской губернии инвентарей недвижимых имуществ, статистических описаний и соображений о мерах к лучшему устройству городских дел. 5 августа 1850 года Салтыков был назначен советником вятского губернского правления. В 1851 году Серeda был назначен наказным атаманом Оренбургского казачьего войска и оставил Вятку, а на его место приехал Семенов. При новом губернаторе деятельность Салтыкова становится еще разнообразнее. Помимо вышеупомянутой работы и одновременно с ней он состоит еще делопроизводителем в трех комитетах: ведающих рабочим и смирительным домами, порядком отдачи в аренду почтовых станций и выставкой сельских промыслов в Петербурге; а затем на него же возлагается и распоряжение вятской очередной сельскохозяйственной выставкой.^[1] В 1852 году Салтыков в качестве советника губернского правления был послан губернатором вместе с жандармским офицером в Слободской уезд для принятия мер к прекращению беспорядков между государственными крестьянами Путейского и Нелесовского сельских обществ Трушниковской волости; а в 1853-м – был командирован в Нолинск для обревизования делопроизводства тамошнего земского суда.

Все эти поручения, – как и многие другие, не попавшие в его формулярный список, – исполнялись им далеко не заурядным, чиновничьим образом: он тщательно изучал дело, выяснял все его обстоятельства, старался раскрыть причину тех или других явлений и найти средства к предупреждению их. И делал все это он с редким беспристрастием, а когда нужно было, то и с гражданским мужеством, не боясь высказывать прямо неприятную правду или предлагать меры, которые легко могли быть истолкованы в качестве его неблагонамеренности. Лучше всего это можно видеть из сохранившейся в его бумагах копии с донесения, представленного им в ноябре 1852 года губернатору по вышеупомянутому делу о прекращении беспорядков в Трушниковской волости. Дело это, окончившееся при участии Салтыкова миролюбиво, представляет значительный интерес как образчик положения крестьян и дореформенных административных порядков.

Вкратце состояло оно в следующем: существовала Камская казенная оброчная статья, смежная с Путейским и Нелесовским сельскими обществами и сдававшаяся в аренду то им, то частным лицам (если те платили хотя бы только 12 рублями дороже), которые устраивали из нее источник наживы и притеснения крестьян. В точности ни размер, ни границы этой статьи определены не были (в 1836 году в ней числилось 1846 десятин, в 1846-м – 720, в 1850-м – 991 десятина), вследствие чего между крестьянами и арендаторами происходили постоянные недоразумения. Крестьянам крайне необходима была эта земля, потому что своей было мало; они расчистили ее из-под леса, привыкли владеть ею и считали если не всю, то часть ее своею, а арендаторы требовали с них оброка даже за такие места, которые, по мнению крестьян, не входили в оброчную статью, а принадлежали сельским обществам. Лесничество не определяли и не соблюдали границ, а только доносили палате государственных имуществ, что Камская статья заросла кустарником и не имеет межевых знаков; землемеры, несмотря на предписания, либо отказывались возобновить знаки под какими-нибудь предлогами, либо ссылались (как это было в 1852 году) на нежелание понятых указать границы, которых те, может быть, и не знали; палата в течение 16 лет ограничивалась “отпиской” и ни разу не потрудились вникнуть как следует в положение крестьян; судя по контракту с последним арендатором, она даже *была совершенно не знакома с предметом сделки*. Словом, шла обычная канцелярская волокита, переписка и отписка. Крестьяне то соглашались платить арендаторам оброк, то отказывались. Когда последний арендатор отказался от дальнейшего содержания Камской статьи, и палата предписала лесничему принять ее в свое хозяйственное распоряжение, то последний вместо того возобновил вновь, еще и со своей стороны, переписку о взыскании оброка с крестьян. Поехало на место действия временное отделение земского суда; крестьяне не только отказались от платежа взыскиваемых денег, но и вынудили станового, помощника окружного начальника и самого арендатора дать оправдывающую их действия подписку. Тогда послано было за военной командой.

И вот как раз в это время был командирован туда Салтыков. Из расспросов крестьян он узнал еще о новом обстоятельстве, объясняющем их *неповиновение и упорство*; в 1844 году спорная земля была нарезана им землемером по числу душ и была предназначена к отводу в состав земельного их надела, что было крайне необходимо, потому что надел, которым они пользовались, был произведен еще по генеральному межеванию, а

не по числу душ 8-й ревизии, и достаточный тогда, стал недостаточен впоследствии. Хотя нарезка эта и не была еще утверждена в установленном порядке, а была лишь предварительной, – почему-то с этим медлили, – но крестьяне считали дело поконченным, принимали нарезку за акт окончательный.

Убедить их при таких условиях в необходимости исполнения предъявляемых к ним требований было задачей не из легких, но Салтыков в этом преуспел до прибытия военной команды.

Другой на этом и остановился бы: отрапортовал бы начальству, что “беспорядки прекращены и бунтовщики приведены в надлежащее повиновение”, и считал бы миссию свою блистательно исполненной; но не таков был Михаил Евграфович: взявшись за дело, он считал необходимым довести его до конца, по крайней мере, до конца логического, то есть до выяснения причин известного явления и мер, какие должны быть приняты, если не хотят, чтобы явление это повторялось. И вот мы видим, что он тщательно описывает крестьянский быт, до мелочей входит в подробности хозяйства и промыслов “бунтовщиков”, не оставляет положительно ни одного обстоятельства незамеченным и необследованным. Это приводит его к убеждению, что крестьяне “находятся в самом бедственном положении”, что удобной земли у них “едва-едва приходится на душу от 2 до 3 десятин” и что земля эта “самого посредственного качества”, так как хлеб родится “едва сам третей, а большею частью сам друг”; что это вероятно “и понудило крестьян делать в свободных казенных землях расчистки, которые впоследствии были введены в состав Камской оброчной статьи”; что хороших сенокосов у них “нет вовсе”, и что лучшие поемные луга по реке Каме также “введены в состав оброчной статьи и из пользования крестьян изъяты”; что “скотоводство поэтому находится в самом жалком положении”, а от этого страдает и хлебопашество; что промыслов, которыми занимаются крестьяне (бурлачество, поставка дров и угля на соседние железоделательные и пермские солеваренные заводы), “едва достаточно на уплату государственных податей”, и т. д. А убедившись, что “причины, побудившие крестьян к возмущению”, заключаются, во-первых, в самом их положении, которое “представляется столь бедственным, что с первого взгляда обращает на себя особенное внимание”, и, во-вторых, в недоразумении, возникшем “от неотграничения и неприведения в известность Камской статьи”, он приходит в конце своего рапорта к следующему выводу:

“По моему мнению, единственный способ водворить

между крестьянами прочный порядок и тишину заключается в скорейшем наделении их землею по числу душ 8-й ревизии, причем, так как почти все свободные казенные земли этого края таковы, что нарезка их крестьянам нисколько не послужит к улучшению их быта, а напротив того, потребует от них же значительного труда и издержек, которые могут вознаградиться разве через весьма долгое время, то я полагал бы в число земель, предполагаемых к наделу крестьянам по 8-й ревизии, включить и Камскую статью в полном ее составе. Тем более, по мнению моему, предположение это заслуживает уважения, что статья сия составила из лесных полян, на расчистку которых этими же крестьянами употреблен не один десяток лет”.

Чтобы высказывать подобные вещи в 1852 году, да еще в исключительном положении Салтыкова, действительно надо было иметь известную долю гражданского мужества. Не щадил он при этом и многочисленных упущений со стороны ведомства государственных имуществ, в котором частенько тогда попадались “озорники”, “чиновники хозяйственного управления” и Удодовы, выведенные им потом в “Губернских очерках” и “Благонамеренных речах”.

Однако провинциальная жизнь, хотя бы и очень деятельная, не могла удовлетворить Салтыкова. У него были другие духовные потребности, кроме служебных, у него были товарищи, друзья, отношения и связи с людьми, которых он уважал, и живая беседа с которыми становилась тем настоятельнее, чем ниже было окружающее общество и чем он в глубине души чувствовал себя более одиноким. “Вятский чиновный мир пятидесятих годов, – говорит К. К. Арсеньев, – состоял большею частью из оригиналов портретной галереи, наполняющей “Губернские очерки”. С постоянным их соседством он никак примириться не мог”. Были некоторые исключения, как, например, А. П. Тиховидов, которого он из учителей гимназии убедил перейти на гражданскую службу и потом рекомендовал Муравьеву (сыну министра), когда тот, уже по возвращении его из Вятки, был назначен туда губернатором; было и еще некоторое количество хороших людей, с которыми можно было “по-человечески переговорить”; но все-таки это было не то, что нужно было Салтыкову, и не они – несколько человек – придавали окраску и тон жизни. Он скучал, боялся опуститься в тину провинциальных мелочей и вот что писал в своей “Скуке”:

“О, провинция! ты растлеваешь людей, ты истребляешь всякую самодеятельность ума, охлаждаешь

порывы сердца, уничтожаешь все, даже самую способность желать!.. Какая возможность развиваться, когда горизонт мышления так обидно суживается? Какая возможность мыслить, когда кругом нет ничего вызывающего на мысль?...” “Были у меня иные времена, окружали меня иные люди, все иное! Были глубокие верования, горячие убеждения, была страсть к добру!.. Где-то вы, друзья и товарищи моей молодости?... Помню я долгие зимние вечера и наши дружеские скромные беседы, заходившие далеко за полночь. Как легко жилось в это время, какая глубокая вера в будущее, какое единодушие надежд и мысли оживляло всех нас!”

Положение Салтыкова еще смягчалось тем, что к нему очень хорошо относилось местное общество. Его всюду звали, начиная с высших административных лиц, и везде он был желанным гостем. Чаще других он бывал в доме вятского вице-губернатора Болтина, где скоро сделался своим человеком и на одной из дочерей которого, Елизавете Аполлоновне, впоследствии женился. Вспоминая те годы, Елизавета Аполлоновна говорит, что он чувствовал себя у них вполне хорошо, подолгу разговаривал с их матерью, шутил и беседовал с ними (она и сестра ее были в то время еще девочками), вообще, бывал весел, хотя и тогда она не помнит, чтобы он смеялся, как другие: “у него смеялись только глаза”. Отправляясь всей семьей кататься, они почти всегда заезжали за ним и брали его с собою; при этом иногда находили его в забавном положении: он не мог ехать, потому что оказывался заперт и не мог выйти из дома; старый человек, который жил у него, отлучаясь ненадолго куда-нибудь в лавку, обыкновенно запирали дом и его там. И Салтыков на это не сердился, а только в комическом виде сообщал из окна о своем положении. Обращал он внимание и на учебные занятия молодых девушек, и так как в то время не было хорошего учебника по русской истории, то он и составил специально для них “Краткую историю России”. Написанная по разным источникам и доведенная до Петра I, рукопись эта состоит из сорока довольно мелко написанных листов и стоила немалого труда. Хотя это представляет собой простое сжатое изложение событий, но Салтыков старался не упустить в нем ничего существенного и отметил самый дух событий и значение их для народа. Таким образом, например, у него изложено царствование Иоанна Грозного, общее направление внутренних реформ которого, особенно в лучшую эпоху (1547–1560), имело в виду подавление боярского произвола и озлобление которого он объясняет

постоянным противодействием, корыстолюбием и непониманием государственных интересов со стороны окружавшей его среды. Писал Салтыков “Краткую историю России” отчасти в Вятке, а отчасти в тверской своей деревне, куда ему позволили на некоторое время съездить, и посылал ее оттуда в Вятку по частям.

О внутренней его жизни в этот период дают еще некоторое представление сохранившиеся в его бумагах заметки, выписки из прочитанных книг, краткие наброски мыслей, которые потом предполагалось “развить”, и т. п. Все это, несмотря на свою отрывочность, показывает, чем он интересовался, что думал и чем собирался заниматься. Сохранился, например, “приступ” к биографии Беккарии и заметки “Об идее права”. К начатой биографии Беккарии приложено несколько выписок из него и против одной из них, где он говорит, что “люди согласились молчаливым контрактом пожертвовать частью своей свободы, чтобы пользоваться остальным спокойно” и т. д., Салтыков замечает: “Нельзя себе представить, чтобы человек мог добровольно отказаться от части свободы, да и нет в том никакой надобности”. В заметках “Об идее права” бегло набросано несколько мыслей, которые, по-видимому, должны были лечь в основу этой работы: о важности сравнительного изучения уголовных законов, о связи между законодательством и нравами, о преступлении вообще, о полных любви и снисхождения взглядах на него у народов цивилизованных, когда “в сознании народном живет идея правды” и законодатель изучает “глубочайшие тайники природы человеческой”; о взгляде на преступление как на действие воли человека, направленное к увеличению суммы личного его благосостояния, и которое было бы вполне законным, если бы не было сопряжено с ущербом для других; о причинах, влияющих на меру наказания, и несправедливости специальных наказаний (например, телесных) для целых сословий; о различии преступлений против права гражданского (искусственного). На особом листе начато было еще рассуждение на тему: имеет ли всякий член общества право требовать от него насущного хлеба.

Мы едва ли ошибемся, – замечает по этому поводу К. К. Арсеньев при рассмотрении этого наброска, – если скажем, что Салтыков хотел выставить в этой работе “в самом ярком свете крайности мальтузианства – и затем перейти к его опровержению...” Сохранились еще между салтыковскими бумагами и несколько страниц выписок из Токвиля (“De la démocratie en Amérique”), Вивьена (“Etudes administratives”) и Шерюзеля (“Histoire de l’administration monarchique en France”). Наконец, о литературных занятиях свидетельствуют “Губернские

очерки”, сразу доставившие ему громкую известность и оказавшиеся, как скоро сам он убедился при знакомстве с другими внутренними губерниями, настолько типичными, что в далеком Крутогорске как бы отразилась вся провинциальная Россия. Потому-то “Губернские очерки” и имели такое большое значение.

ГЛАВА III. СЛУЖБА И ЛИТЕРАТУРА

Возвращение из Вятки в Петербург с тяжелыми предчувствиями. – “Губернские очерки”. – Женитьба. – Чиновник особых поручений министерства внутренних дел. – Доклад Салтыкова о злоупотреблениях по ополченскому делу и записка о полиции. – Журнальная деятельность Салтыкова. – Poleмика с Ржевским по крестьянскому вопросу. – Выход в отставку. – Салтыков получает отказ в просьбе издавать журнал. – Сотрудничество в “Современнике”. – Недовольство литературой и перемена журнальной деятельности на административную. – Отношение к служащим. – Воспоминания рязанских старожилов о служебной деятельности Салтыкова в их губернии. – Салтыков окончательно оставляет службу и всецело отдается литературе

В ноябре 1855 года Салтыкову было позволено выехать из Вятки, а 12 февраля 1856 года он был отставлен от должности советника вятского губернского правления и причислен к министерству внутренних дел. Таким образом, почти восьмилетняя ссылка кончилась. Обязан он был этим, по словам г-на Михайлова, новому вятскому губернатору Ланскому, а всего вероятнее, в лице его – новым веяниям и перемене взглядов после Крымской кампании. Но возвращался он в Петербург не с радостным, а, скорее, со стесненным сердцем. Хотя в дороге ему и снилась погребальная процессия “прошлых времен”, но надежды на будущее смешивались с опасениями, что в действительности получится нечто гораздо меньшее ожиданий. Это было уже плодом горького опыта жизни, плодом близкого знакомства с официальным Крутогорском и невольных отсюда обобщений. Кроме того, у него образовалась привычка к далекому краю, к его зыбучим пескам, большим хвойным лесам и в особенности к населяющему его люду, “простодушному, смирному, слегка унылому, или, лучше сказать, как бы задумавшемуся над разрешением какой-то непосильной задачи”, а затем были сомнения в собственных силах. В этом последнем отношении Салтыков всегда преувеличивал опасения. К счастью, это не оказывало парализующего влияния на его деятельность, не переходило в разочарование и бесплодное нытье, а являлось в такой мере, чтобы браться за дело всеми силами и делать его со всем тщанием. О настроении его в это время можно отчасти судить по очерку “В дороге”:

“Передо мною растворяются двери новой жизни, – писал он, –

той полной жизни, о которой я мечтал, к которой устремлялся всеми силами души своей... И между тем внутри меня совершается странное явление! Я слышу, я чувствую, что какое-то неизъяснимое тайное горе сосет мое сердце... Я огорчен, я подавлен, я уничтожен... Мне кажется, что меня тяжело оскорбили, что внезапно погребло все, что я любил, чем был счастлив, что я неожиданно очутился один, отторгнутый от всего живого... И в самом деле, что меня ждет впереди? Новая борьба, новые хлопоты, новые искательства? А я так устал уж, так разбит жизнью, как разбита почтовая лошадь ежечасной ездой по каменистой дороге! И не то чтоб я в самом деле много жил, много изведаль, много выстрадал... Нет... между тем сознаю, что душа моя действительно огрубела, а в сердце царствует преступная вялость. Ужели же я погибну, не живши? – спрашиваю я себя и вдруг чувствую нестерпимый прилив крови в жилах. Мне хочется бежать-бежать, кричать-кричать... Но вместе с тем я, как выздоравливающий больной, ощущаю, что мне сильный моцион еще не по силам, что одно желание моциона порождает уже расслабление и усталость...”

Разумеется, настроение это сейчас же прошло, как только он приехал и взялся за дело. И дела у него сразу явились по горло, как служебного, так и литературного (в 1856 году начали печататься в “Русском вестнике” его “Губернские очерки”), и частного, так как в этом же году он женился и должен был устраивать свои домашние дела. По службе мы видим следующее: 12 мая на надворного советника Салтыкова возлагается составление свода распоряжений министерства внутренних дел, относящихся к войне 1853–1856 годов; 20 июня он назначается в том же министерстве исправляющим должность чиновника особых поручений VI класса, а 5 августа командировается в губернии Тверскую и Владимирскую для обозрения на месте письменного делопроизводства губернских комитетов ополчения. Результатом этой командировки явилась обширная записка, черновая рукопись которой сохранилась в бумагах Салтыкова и в которой он яркими чертами обрисовал закулисную сторону и многочисленные злоупотребления ополченского дела. Безобразия внутренних губерний едва ли не превосходили безобразий вятских. Кроме этих поручений на него возлагались и другие: например, составление предположений об улучшении устройства земских повинностей; об устройстве православных церквей в западных губерниях; об устройстве градских и земских полиций и т. п. По последним двум предметам также сохранились в бумагах служебные записки. Обширная записка о полиции отлично рисует административные взгляды Салтыкова и замечательна как по

знанию и изучению предмета не только у нас, но и в европейской практике, так и по той прямоте, с какою он высказывал свои широкие взгляды.

К сожалению, объем этой записки не позволяет нам остановиться на ней более подробно, но все-таки мы не можем не сказать, что Салтыков в ней с резкостью изображает неудовлетворительное состояние тогдашней полиции, рассматривает вопрос о централизации и децентрализации и является сторонником последней, защищает самостоятельность и самостоятельность “земства”, а по пути затрагивает и вопрос о суде, говоря о необходимости общего переустройства губернской и уездной администрации.

Положительная сторона предложений Салтыкова теперь может, пожалуй, показаться несколько странной (например, состав земского совета после издания земского положения), но тогда это было бы большим шагом вперед, а многое из высказанного им и до сих пор имеет самое современное значение: например, упущенная из виду и потом только, в 80-х годах, всплывшая в земских проектах мысль о необходимости объединения уездного управления, приурочение этого управления к земской почве с подчинением земству полиции исполнительной и вообще взгляд на отношения между земством и центральной властью, который высказывается теперь лучшими представителями государственного права.^[2]

Нужно заметить, что записка эта была писана раньше 1860 года, когда Салтыков, бывший тогда уже вице-губернатором (с 6 марта 1858 года), участвовал в занятиях учрежденной при министерстве комиссии о губернских и уездных учреждениях, и тем больше, конечно, она делает ему чести как человеку, который, едва вернувшись из Вятки, не остановился ради истины и интересов общественных перед соображениями о личных интересах и решился с такою прямотою высказывать свои взгляды. А если мы соличим эти взгляды с теми выписками, какие он делал в Вятке, то увидим и всю последовательность и устойчивость его мирозерцания и убеждений.

В 1858 году Салтыков был назначен в Рязань вице-губернатором. В 1860-м его перевели на ту же должность в Тверь, где ему несколько раз пришлось исполнять должность губернатора. Хотя служебных занятий у него было достаточно, но все-таки он мог уделять некоторое время литературе. Окончив в 1857 году “Губернские очерки”, вышедшие вскоре отдельным изданием, он в том же году напечатал еще несколько произведений, из которых некоторые не вошли в полное собрание его сочинений (комедия “Смерть Пазухина”, появившаяся в

“Русском вестнике”, и “Жених”, картина провинциальных нравов, в “Современнике”). В 1858–1859 годах Салтыков печатается в “Русском вестнике”, в “Атенее”, в “Современнике”, в “Библиотеке для чтения” и в “Московском вестнике”. Почти все написанное в это время вошло потом в “Невинные рассказы”. С 1860 года Салтыков примыкает к “Современнику” и делается постоянным его сотрудником. В других изданиях появляются только несколько сцен его и рассказов во “Времени” за 1862 год да несколько публицистических статей в “Московских ведомостях” за 1861 год, когда их издавал Корш. Первые потом были перепечатаны в “Сатирах в прозе”, вторые никуда не вошли и, к сожалению, совсем забыты, несмотря на представляемый ими интерес. Это одни из наиболее “горячих” его статей за полной его подписью по поводу крестьянской реформы, когда против нее стали подниматься голоса консервативно-дворянской партии и таких господ, как Ржевский, с которым он полемизировал. Статьи эти: “Об истинном значении недоразумений по крестьянскому делу”, “Об ответственности мировых посредников”, “Где истинные интересы дворянства” – и несколько других заметок и возражений Ржевскому положительно заслуживают того, чтобы войти вместе с другими интересными документами и работами в следующее издание его сочинений.

Он чувствовал и знал, что начинается реакция против реформы, что, выступая горячим защитником ее, он не понравится многим и что это может повлиять на дальнейшую его службу, но, тем не менее, писал, так как трудно было переживать нечестивые усилия молча.

Литература тянула его к себе все сильнее и сильнее, и, вероятно, главным образом под влиянием этой притягательной силы, он вышел в 1862 году в первый раз в отставку. Сначала он хотел было поселиться в Москве и основать там двухнедельный журнал; но когда это ему не удалось,^[3] то переехал в Петербург и вошел с начала 1863 года в редакцию “Современника”, где и стал деятельно работать.

За это время (1863–1864) он пишет очень много и в разных отделах: рассказы, очерки, московские письма, отдельные статьи, обозрения общественной жизни, участвует в “Свистке”, разбирает и делает отзывы о новых книгах; некоторые статьи подписывает прежним псевдонимом “Н. Щедрин”, другие – “К. Турин” (московские письма), третьи – “Михаил Змиев-Младенцев” (в “Свистке”), а большинство оставляет совсем без подписи. Только незначительная часть из написанного им в это время вошла в отдельные издания и в полное собрание его сочинений (“Невинные рассказы”, “Признаки времени”, “Помпадуры и

помпадурши”)), остальное же до сих пор лежит под журнальным спудом и было бы, вероятно, совсем забыто, если бы А. Н. Пыпин не сделал списка того, что принадлежало его перу.^[4] Если не больше, чем теперь, то во всяком случае и тогда литература *была* переполнена разными “терниями”, начиная от чисто нравственных и кончая материальными. Салтыков зависел от журнальной работы, “Современник” много платить не мог, приходилось, как сам Салтыков однажды выразился, “перебиваться рецензиями”, которых больше всего им и писалось, а библиографическая работа – самая неблагодарная. Нехорошо чувствовал себя Салтыков в это время и стал подумывать опять о службе. Вот что говорит о нем в ту пору г-жа Головачева в своих воспоминаниях (“Исторический вестник”, 1889, № 11):

“Сумрачное выражение лица еще более усилилось. Я заметила, что у него появилось нервное движение шеи, точно он желал высвободить ее от туго завязанного галстука (это осталось на всю жизнь). Из молчаливого он сделался очень говорлив... Я была однажды свидетельницей страшного раздражения Салтыкова против литературы. Не могу припомнить названия его очерка или рассказа, запрещенного цензором. Салтыков явился в редакцию в страшном раздражении и нещадно стал бранить русскую литературу, говоря, что можно поколоть с голоду, если писатель рассчитывает жить литературным трудом, что одни дураки могут посвящать себя литературному труду, что чиновничья служба имеет перед литературой преимущество. Салтыков уверял, что он навсегда прощается с литературой, и набросился на Некрасова, который, усмехнувшись, заметил ему, что не верит этому”.

Разумеется, Некрасов как большой знаток человеческого сердца и писательской психологии в особенности был прав; но Салтыков действительно оставил на некоторое время литературу и опять поступил на службу: 6 ноября 1864 года он был назначен председателем пензенской казенной палаты. Через два года его перевели на ту же должность в Тулу, а в октябре 1867 года – в Рязань. К сожалению, о времени его службы в министерстве финансов, а равным образом и о времени вице-губернаторства почти нет никаких сведений, между тем этот период его деятельности особенно интересен, так как он был уже совсем в иной роли, чем в Вятке.

Г-н Скабичевский рассказывает (“Новости”, 1889, № 116), что ему приходилось слышать от провинциальных чиновников,

служивших под его начальством, что “начальник он был редкий: как они ни робели порою от его, по-видимому, грозных окриков, но никто его не боялся, а, напротив того, все очень любили его за то, что он входил в нужды каждого мелкого чиновника и был крайне снисходителен ко всем его слабостям, которые не приносили прямого вреда службе”. Мне тоже приходилось слышать о его снисходительности и внимательности к мелким чиновникам и их экономическому положению; так, например, при распределении наградных денег к праздникам он всегда стоял за то, чтобы больше давать тем, кто получал меньше жалованья, и сокращать слишком большие награды имевшим и без того хорошие оклады. Слышал я, между прочим, и такой рассказ: однажды Салтыкову во время служебной поездки нужно было во что бы то ни стало приготовить к утренней почте несколько бумаг, поэтому он и бывший с ним какой-то маленький чиновник сели работать на ночь, – Салтыков в одной комнате, а тот рядом, в другой. Недолго выдержал чиновник и заснул на диване. Услышав храп, Салтыков вышел и, видя его усталое лицо, взял и подложил ему подушку, а сам сел на его место и кончил к рассвету и его, и свою работу. Утром, когда бедный чиновник проснулся, то прежде всего испугался, что проспал и не кончил работы, но каково же было его удивление, когда он увидел, что работа кончена рукою Салтыкова. Страх, разумеется, еще увеличился. А Салтыков между тем еще не спал: из соседней комнаты слышался скрип его пера, – он что-то поправлял и доканчивал в своих бумагах. Но вот он кончил и выходит на цыпочках, чиновник ни жив ни мертв, а он самым обыкновенным образом говорит: “Ну, батюшка, должно быть, вы вчера очень устали, я уж подушку вам подложил да боялся все разбудить, но куда там – спите как убитый, ничего не слышите”. Тот, разумеется, стал извиняться, а этот и не думал сердиться. Подобное отношение к людям было совершенно в характере Салтыкова. Немало было подобных же фактов и из журнальных отношений, когда он обнаруживал редкую деликатность и внимательность к людям, входил в такие положения, в какие, право, никто не вошел бы; когда вы ждали, что вот он рассердится, а он вдруг начинал сочувствовать вам или, начав на кого-нибудь сердиться и заметив ошибку, вдруг замолкал и принимался ухаживать за человеком, ухаживать по-своему, по-неумелому, иногда даже с воркотней, но так все-таки, что для вас было очевидно старание загладить свой промах.

В два периода служебной деятельности (вице-губернатором и председателем трех казенных палат), о котором мы говорим, у Салтыкова должно было быть особенно много столкновений. Это

время его деятельности, повторяем, очень интересно, так как, будучи в ином положении, он и там вносил в дело ту же прямоту, ту же искренность и неподкупную честность, какими отличался в литературе. Рассказы его из этого времени полны тяжелых впечатлений и самых мрачных красок. Ему приходилось видеть воочию и переходную эпоху 60-х годов со всеми изворотами и ухищрениями недовольных реформами, и все прелести дореформенных порядков: крепостное право, откуп, судебную волокиту и взяточничество, самоуправство, насилие и грубость, бюрократическое всевластие, лень и формализм, и, само собою разумеется, что он не оставался ко всему этому равнодушен. Я как сейчас помню его рассказы о ревизии тюрем и мест заключения: “Вы не можете представить, какие ужасы мне приходилось видеть; я ведь застал еще застенки и деревянные колодки, из которых заставлял при себе вынимать людей”. Им было возбуждено несколько дел о жестоком обращении с крестьянами. Доклады, отзывы, заключения и вообще переписка его по таким поводам, хранящаяся где-нибудь в архивах, должна представлять большой интерес. Писал он бумаги, по всей вероятности, не обычным форменным языком, а языком литературным, живым и страстным.

Кое-какие сведения о пребывании Салтыкова в Рязани были сообщены несколькими рязанскими старожилами г-ну Мачтету и попали в печать.

Приехал Салтыков в Рязань (15 апреля 1858 года) на должность вице-губернатора самым скромным образом, в простом дорожном тарантасе, как самый простой обыватель, чем несказанно удивил ожидавшее его местное общество, которое уже знало его как автора “Губернских очерков”. Зажил он также просто и скромно: у себя принимал и изредка сам бывал в гостях, со всеми просто обращался, кое-когда играл в карты, но большую часть времени посвящал служебным делам. Работы было много. В качестве вице-губернатора он был председателем губернского правления, где дореформенные порядки были особенно неказисты. “Безграмотность была до того велика, например, что одного бывшего семинариста, горчайшего пьяницу, держали, несмотря ни на что, в канцелярии только за то, что он в трезвом виде умел кое-как справляться с буквою *е* и знаками препинания”. Им дорожили и “берегли его для особо важных бумаг”. Служащие получали крохотное содержание; взятки были не только обычаем, но и правом и назывались “доходом”. Прямо так и говорилось: жалованья столько-то, а дохода столько-то. Например, стряпчему жалованья полагалось всего 480 рублей в год, а доход его определялся в 2 тысячи рублей. Обыватели также смотрели на это

как на нечто установленное, как на “кормление”, и безропотно делали приношения. “Взяткой” тогда называлось только грубое вымогательство. Поэтому назначение Салтыкова было многим неприятно; но большинство все-таки надеялось, что все останется по-старому, что сначала он, может быть, и поусердствует, а потом “усядется”, так что можно будет его проводить и делать что угодно. Но Салтыков при первом же приеме служащих сказал им: “Брать взяток, господа, я не позволю и с более обеспеченных жалованьем буду взыскивать строже. Кто хочет со мною служить – пусть оставит эту манеру и служит честно. К тому же, господа, я должен сказать вам правду: я обстрелянный уже в канцелярской каббалистике гусь, и провести меня трудно”.

Один из старожилов говорит в присланных воспоминаниях: “...в короткое время большая часть состава служащих губернского правления обновилась, вошли новые элементы, желавшие служить честно”. Затем Салтыков добился наконец, что чиновники научились хоть мало-мальски грамотно писать и излагать свои мысли. Стоило это немалых усилий и времени: ему приходилось просматривать лично каждую бумагу, самому корректировать орфографические ошибки, вводить смысл в безграмотную тарабарщину и снова возвращать бумагу в стол для приведения в должный вид. Помимо этой кропотливой и скучной работы в канцелярии Салтыков нередко увозил с собою “целые вороха таких бумаг” и просиживал за их исправлением дома иногда целые ночи. Отношение Салтыкова к служащим было самое простое, без всякого подразделения их на ранги. С первого взгляда, по обыкновению, он казался сердитым и грубоватым, но “все скоро свыкались с этим и понимали, что имеют дело с человеком добрым, участливым, в глубине души крайне деликатным, безусловно простым и честным”. Выведенный из себя, он иногда выкрикивал что-нибудь резкое, но все видели, что собственно гнева тут гораздо меньше, чем горя.

Вот два случая, характеризующие его отношения, о которых тогда долго и много говорилось в Рязани.

Раз один столоначальник, человек немолодой, безусловно честный, но в то же время и безусловно безграмотный, поднес Салтыкову к подписи бумагу по довольно важному делу. Прежде составлявшиеся им бумаги Салтыков частенько рвал и затем, ворча и ругаясь, сам писал их. Бедняга был уже не раз в таком положении и, будучи человеком “амбиционным”, вошел в кабинет довольно взволнованным. Салтыков прочел бумагу раз, другой, поднял в изумлении плечи и воскликнул:

– Что это такое вы тут намудрили?

– Доклад-с, ваше превосходительство! – отвечал тот, волнуясь

еще более.

– Доклад!! Ахинея-с, а не доклад. Тут ни один дьявол не разберет вашего доклада. Вы-то понимаете сами, что написали?

– Я понимаю-с, ваше превосходительство! – сконфуженно сказал столоначальник. Салтыков вспыхнул:

– Ну, в таком случае, батюшка, извините, – один из нас несомненный дурак.

Чиновник обиделся и сказал что-то о своем самолюбии. Салтыков тоже сконфузился, взял его за руку, усадил, прочитал бумагу и спросил – можно ли понять? Чиновник согласился, что нельзя, простил обиду и сознался, что бумаги для него всегда были “делом темным”, так как он служил все по счетоводству, более 25 лет служил и столоначальником стал за свое старшинство. Узнав это, Салтыков обещал и вскоре нашел ему более подходящее место; а чиновник всю жизнь рассказывал про этот случай и в Михайлов день всегда служил молебен за Салтыкова.

Другой случай был с экзекутором губернского правления, когда Салтыков заменял уехавшего в отпуск губернатора. В страшную снежную бурю старик экзекутор, по установленному обычаю, явился к нему с рапортом, что в губернском правлении “все обстоит благополучно”, а тот, увидев, что старик опушен снежинками и весь синий, дрожит от холода, принялся его отогревать чаем с ромом, совершенно забыв о рапорте, и в конце концов сказал ему, чтобы тот в другой раз не рапортовал в такую погоду, так как он и сам знает, что “ни мятежа, ни глада, ни мора в губернском правлении быть не может”.

– Душа человек, что и говорить! – рассказывал потом экзекутор, но как строгий формалист втихомолку ворчал и добавлял: А все-таки не по форме это!.. Как это без рапортов! Хоть и благополучно, а все-таки следует.

Относясь к сослуживцам просто, душевно, с охотой исполняя их законные желания, Салтыков, однако, был очень требователен в работе. Он и себя не щадил и не баловал, сам просиживал за работою целые ночи – и от сослуживцев своих требовал большого труда. По важным делам, в особенности по делам о притеснениях крестьян, по делам раскольниковым, он всегда сам составлял резолюции и писал постановления, не говоря уже о том, что сам перечитывал и пересматривал каждую бумажку, каждое донесение. Эти резолюции и постановления представляют собою несомненно очень ценный материал. Всегда и везде Салтыков являлся горячим защитником притесняемых, и не только защитником, а прямым ходатаем. Последнее давало повод ко всякого рода неприятным столкновениям, породило

недружелюбное отношение к нему со стороны многих, довольно сильных лиц в губернии, служило предметом толков и пищей для клевет и инсинуаций и в конце концов повлекло за собою даже перевод Салтыкова в Тверь, – но он не сдавался, а твердо и неуклонно шел своею дорогой.

“Я не дам в обиду мужика! Будет с него, господа... Очень, слишком даже будет”, – сказанное Салтыковым по поводу одного дела, где несчастных крестьян желали выставить чуть ли не бунтовщиками, передавалось во враждебных ему кружках из уст в уста как нечто крайне вредное, опасное, угрожающее. В таком же виде оно дошло и до столицы, где, однако, на эти слова взглянули, кажется, иначе.

В губернии же они послужили одному зоилу из “белых” поводом для переделки по отношению к Салтыкову слова *вице-губернатор* в *вице-Робеспьера*.

Работы в губернском правлении было по горло. Предшественниками Салтыкова дела были очень запущены, некоторые лежали без движения целые годы, другие тянулись десятки лет.

“Искореня взяточничество, – пишет один из бывших сослуживцев Салтыкова, – и внушая своим подчиненным строгое отношение к делу, Михаил Евграфович впал в крайность, свойственную, впрочем, всякому усиленно работавшему и относящемуся добросовестно к работе человеку. Запущенные дела, доставшиеся ему от предшественников, и желание хоть несколько привести в порядок канцелярию побудили его потребовать от своих подчиненных и вечерних занятий. Он распорядился, чтобы служащие, работавшие и без того много, от 8 до 9 часов, приходили еще и по вечерам с 8 часов”.

В правлении поднялся горячий ропот на такое распоряжение, и главным образом роптала беднота, все маленькие чиновники, жившие за городом. Мелкий чиновник того времени, при незначительности получаемого им жалования, принужден был вместе со своим семейством селиться на немощенной окраине города, среди страшной грязи в так называемой “Солдатской слободе”, представлявшей собою колонию бедного чиновничьего мира. “Через невылазные грязи бедному чиновничьему классу приходилось ходить под дождем в самом карикатурном виде. Со снятыми ради экономии сапогами, повешенными на плечи, с подсушенными по колени брюками, бедняк чиновник принужден был переправляться через лужи, чтобы не портить обуви и платья, и тогда только решался надеть сапоги, когда, обмыв ноги в последней луже, выбирался наконец в мощеную часть города”.

Ропот бедняков, от которых вдруг потребовали двойной

работы, не увеличивая за нее платы, был вполне понятен; и за них вступился местный корреспондент, выступивший с негодующей статьей в тогдашних “Московских ведомостях”, в одном из июльских номеров. Корреспонденция подписана была псевдонимом “Сбоев” и, горячо ратуя за бедноту, на голову которой вечно валятся шишки, осуждала произвольное распоряжение Салтыкова относительно вечерней работы и советовала ему, прежде чем требовать от людей крайнего напряжения сил, присмотреться к их быту, посмотреть, как и где они живут.

Салтыков, как только прочитал это, так сейчас же отменил свое распоряжение и, нимало не конфузясь, поехал в “Солдатскую слободу” посмотреть, как действительно живут его подчиненные. Но этим дело не ограничилось. Он позвал к себе одного из чиновников, некоего Иванова, и спросил его, не знает ли он, кто этот Сбоев?

– Не знаю, ваше превосходительство, – отвечал тот.

– Да вы не думайте, что я со зла спрашиваю. Хоть он меня и отделал, я не сержусь, а очень ему благодарен, напротив. Я не злопамятен, как другие, – говорил ему Салтыков, думая, что тот нарочно скрывает. Но Иванов уверил его, что действительно не знает Сбоева.

– Жаль, искренно жаль! – повторял Салтыков. – Я очень благодарен этому Сбоеву... Честный, видно, человек, и я хотел бы с ним познакомиться... Он написал правду, свое распоряжение я сделал не подумавши...

Салтыков, однако, не успокоился, а поехал в Москву и узнал там в редакции адрес корреспондента. Оказалось, что Сбоевым подписался Смирнов, инспектор Александровского дворянского заведения. Возвратившись из Москвы, Салтыков немедленно же поехал к нему с визитом. “Внезапное посещение вице-губернатором, – пишет один из стариков, хорошо знавший обоих, – квартиры Смирнова смутило хозяина, тем более что он нечаянно встретил гостя в халате.

– Пожалуйста, не стесняйтесь! Я рад с вами познакомиться как с человеком, который оказал мне услугу! – быстро заговорит Салтыков, заметив смущение Смирнова и крепко сжимая его руку. – Вы напечатали в “Московских ведомостях” статью под псевдонимом Сбоева... Я читал ее... Нарочно ездил в Москву, чтобы узнать имя автора, и теперь приехал к вам, чтобы поблагодарить вас... Вы поступили честно и написали правду... Надеюсь, что на этом наше знакомство не кончится...

Вскоре после этого Смирнов, с которым Салтыков искренно подружился, принял на себя по его просьбе заведование

неофициальной частью “Губернских ведомостей”. Таким образом завязавшиеся хорошие отношения продолжались до самой смерти Салтыкова. Когда его перевели в Тверь, то он писал оттуда Смирнову, характеризуя тогдашнее тверское общество; переписывался с ним также и из Петербурга, когда редактировал “Отечественные записки”.

Не менее любопытны также сведения, сообщаемые рязанскими старожилками о положении Салтыкова в обществе в то интересное время. Время тогда было действительно интересное: Россия была чуть ли не накануне освобождения крестьян. Общественное оживление и подъем духа не миновали, конечно, и Рязани: и там, как и в других местах, лучшие люди говорили о намеченных уже реформах, спланивались и готовились послужить им. Один из старожилков пишет:

“Однообразие провинциальной жизни, со всегдашними ее спутниками: скукою, картами и сплетнями, к концу 50-х годов несколько оживилось у нас. Слухи о предстоящих реформах стали волновать умы в Рязани”. В клубе и во многих частных домах, – продолжает г-н Мачтет, цитируя полученные им письма, – где преферанс является до сих пор исключительным времяпровождением, карты все более и более забывались. Люди стали думать, читать, интересоваться судьбою своей родины, а вместо обычных “пас” или “без козырей” стали слышаться умные речи и страстные споры. Все живое, молодое и честное рвалось навстречу подготовлявшейся реформе и, полное веры в будущее, в жизнь, в себя, считало прошлое похороненным, исчезнувшим без следа, без возможности воскрешения. Городской сад весною и летом наполнялся теперь не только дамами и кавалерами, но и почтенными, степенными отцами семейств, до сих пор вечно сидевшими за зелеными столиками. Этот сад превратился в клуб, куда сходились люди для обмена мыслями, для толков и споров. “На террасе, за столом, – пишут нам, – каждый вечер можно было видеть Салтыкова, окруженного лучшими, интеллигентными людьми Рязани того времени: Офросимовым, князем Волконским (которого Салтыков в шутку называл “Жюль Фавром с затылка”) и другими передовыми впоследствии деятелями земской реформы”. В этом кружке каждый вечер шли толки и обсуждения оснований готовившейся реформы, и он невольно приковывал к себе общее внимание. Молодежь обыкновенно незаметно и тихо располагалась на ближайших скамейках или пряталась в кусты и за стволы деревьев, “чтобы послушать, что говорит он, наш незабвенный М. Е.”, как он смотрит, чего ждет. “Выберет себе местечко поближе, – говорил нам один из старожилков, – обопрется о дерево и стоит человек целые часы, не шелохнется,

чтобы не пропустить ни словечка, точно соловья слушает... И сердце у него бьется, и глаза горят, и весь он живет... Глядишь и себе не веришь, тот ли это самый Иван Иванович, что до сих пор только за поповнами ухаживал да банты голубые на шею нацеплял?... Все тогда как-то меняться стали!”

Но Салтыкову недолго пришлось оставаться в Рязани и группировать около себя лучших людей общества. Уже в апреле 1860 года его вызвали в Петербург для личных объяснений по поводу возникших у него столкновений с губернатором, покойным М., и затем перевели его в Тверь. Столкновения Салтыкова с губернатором начались давно и тянулись долго, пока не дошли до открытой ссоры, поводом к которой послужило одно крестьянское дело. Губернатор был человек суровый, нетерпимый, с крутым и тяжелым характером. Его ссору с Салтыковым описывает один из бывших рязанских чиновников следующим образом:

“Столкновение Михаила Евграфовича с губернатором произошло вследствие того, что последний непременно хотел провести одно дело в губернском правлении, а Михаил Евграфович наотрез отказался подписать формальное постановление, которое, безусловно, противоречило его внутреннему убеждению и совести”. Губернатор все-таки приказал написать постановление и прислать ему, что и было исполнено. “Не видя подписи вице-губернатора, губернатор снова направил журнал к Салтыкову для подписи, но Салтыков остался непоколебим и возвратил его неподписанным”. Тогда губернатор вызвал Салтыкова к себе, и между ними произошел нижеследующий разговор. Губернатор был очень сердит и в возбуждении прохаживался скорыми шагами, когда вошел к нему Михаил Евграфович, на вид совершенно спокойный.

– Так вы не хотите подписать журнал? – крикнул ему губернатор, как только его увидел.

– Повторяю, ваше превосходительство, не намерен! – спокойным, не допускаям сомнений тоном отвечал Салтыков.

После этого и тот, и другой сказали друг другу несколько колкостей, о чем ходило по городу много различных вариантов.

Вызванный для личных объяснений в Петербург Салтыков был переведен на ту же должность в Тверь. В октябре 1867 года Салтыков опять появился в Рязани уже в должности председателя казенной палаты. Его перевели с той же должности из Тулы. Это вторичное его пребывание там было кратковременное первое, так как в 1868 году он уже совсем вышел в отставку и отдался литературе, но, несмотря на это, все-таки успел приобрести ту же любовь и уважение своих новых сослуживцев и точно так же, как

и раньше, “являлся защитником всех честных людей, ходатаем за всех обездоленных, нуждавшихся в помощи и в участии”. Несмотря на свое общественное положение и литературную известность, которая возросла настолько, что превратилась уже в настоящую славу, “он оставался все тем же простым, доступным всем душевным человеком, каким и был. Его правдивость, его простота, его участливое отношение к *низшим* ставились в образец и сами собою, помимо литературной славы, окружали его ореолом”. Много случаев, рисующих с этой стороны Салтыкова, рассказывалось и до сих пор еще живет в памяти стариков. Вот что, например, рассказывают о разборе им ссоры между казначеем и бухгалтером в городе Спасске. Казначей был старик из “высиженных”, т. е. получивший место не за заслуги, а за долголетие, и дело свое знал плохо, но показать этого не желал и был упрям и заносчив; а бухгалтер был из молодых и из новых, книжки читал, в газетах пописывал и дело свое знал отлично. Сцепились они сразу же: казначей делает какое-нибудь незаконное распоряжение, а тот не исполняет и сует, в свое оправдание, статью закона или циркуляр; казначей настаивает, а тот требует письменного приказа на бумаге и только такие предписания и исполняет, по обязанности подчиненного. Казначей начал писать Салтыкову донос за доносом, обвиняя своего противника “чуть ли не во всех преступлениях и в полном незнании дела”. Салтыков не вытерпел и поехал на место действия. Приехал он в Спасск в простой почтовой кибитке, чем несказанно смутил выехавшего ему навстречу исправника и удивил все спасское общество; а по приезде немедленно же запечатал кладовую и принялся, не говоря никому ни слова, за ревизию дел. Рассмотрев книги и дела, он в изумлении позвал бухгалтера и стал ему указывать на целый ряд неправильностей и ошибок.

– Что это? – сурово сказал он ему. – Рекомендовали мне вас хорошо, человек вы грамотный, книжки читаете, в газетах пишете и столько глупостей наделали!..

– По предписанию, ваше превосходительство! – ответил спокойно бухгалтер.

– По какому предписанию?

Бухгалтер достал все письменные предписания казначея. Дело таким образом выяснилось сразу. Салтыков позвал казначея и тут же объявил ему, что не может допустить его к дальнейшему отправлению должности.

– Доносы, доносы и доносы, – сказал он ему, – все я, я да я!.. А вот и выходит, где вы – там и вранье... И доносить-то нужно умеючи, а то ведь иной донос на русском языке и клеветой

называется...

Однако казначея он все-таки не оставил без места и только перевел его куда-то бухгалтером, а бухгалтера назначил казначеем, причем, говорят, сказал ему, чтобы он не особенно-то увлекался служебными перспективами и ради них не забывал книжек.

Рассказывали также люди “вполне достоверные” такую еще черту салтыковского прямодушия: “Перевод его из Тулы в Рязань был крайне неприятен бывшему тогда губернатором Б., который хлопотал об этой должности для своего родственника М, и потому Салтыкову пришлось стать с ним сразу в натянутые отношения. Этим натянутым отношениям поспособствовал и первый визит Салтыкова к губернатору, резко обрисовавший его правдивый, искренний характер и нелюбовь к деланным любезностям. Дежурный чиновник, бывший в тот день у губернатора, рассказывал, что Салтыков вошел со словами: “Ну, вот и я, ваше превосходительство”. Губернатор рассыпался в любезностях, стал уверять, что очень рад его видеть, счастлив познакомиться с ним и служить в одной губернии.

– Спасибо, спасибо, ваше превосходительство, – тем же хмурым тоном перебил его Салтыков, причем губы его слегка улыбнулись, – очень благодарен и тронут!.. А вот министр просил меня передать вам, что ходатайство вашего превосходительства о назначении на мою должность г-на М. уважено им, к сожалению, быть не может.

Губернатор вспыхнул и совсем растерялся.

После второй отставки в июне 1868 года Салтыков на службу уже не возвращался и стал всецело принадлежать литературе. С января этого года начали выходить под новой редакцией “Отечественные записки”, куда он уже посылал статьи, а теперь сделался фактически одним из редакторов их вместе с Некрасовым и Елисеевым. За время службы его в министерстве финансов в течение трех лет (1865–1867) им была напечатана, кажется, только одна статья “Завещание моим детям” (“Современник”, 1866, № 1), вошедшая потом в сборник “Признаки времени”, так что можно было думать, что он и в самом деле решил расстаться с литературой, но, к счастью, этого не произошло, а сбылось предсказание Некрасова.

ГЛАВА IV. САЛТЫКОВ – РЕДАКТОР “ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ЗАПИСОК”

Совместная деятельность Салтыкова с Некрасовым и Елисеевым. – Переход “Отечественных записок” в руки Салтыкова после смерти Некрасова. – Замечательное трудолюбие. – Артистические переделки рукописей и необыкновенный художественный такт нового редактора. – Предоставление широкой свободы талантам и постоянным сотрудникам. – Внимание к мнениям и замечаниям близких лиц о его статьях. – Строгое разграничение домашних и литературных знакомств. – “Semper manent in secula seculorum!”

Хотя Салтыков создал себе почетное имя в литературе еще со времени “Губернских очерков”, хотя он был известен также и как один из видных сотрудников “Современника”, но все главное, что сделало его Салтыковым-Щедриным, каким войдет он в историю русской литературы к ее вящей славе, относится ко второму периоду его литературной деятельности. В эти годы им были написаны: окончание “Помпадуrows и помпадуrows”, окончание “Признаков времени”, затем “Письма из провинции”, “История одного города”, “Господа ташкентцы”, “Дневник провинциала в Петербурге”, “Благонамеренные речи”, “Господа Головлевы”, “Недоконченные беседы”, “В среде умеренности и аккуратности”, “Культурные люди”, “Итоги”, “Современная идиллия”, “убежище Монрепо”, “Круглый год”, “За рубежом”, “Сказки”, “Письма к тетеньке”, “Пошехонские рассказы”, “Пестрые письма”, “Мелочи жизни”, “Пошехонская старина” и несколько очерков и статей, вошедших в “Сборник” (т. VI) и совсем не вошедших в отдельные издания. Появилось все это главным образом на страницах “Отечественных записок”. После смерти Некрасова (1877) Салтыков был утвержден ответственным редактором журнала и стоял во главе его до самого его запрещения (в апреле 1884 года), а затем должен был появляться в чужих изданиях: в “Русских ведомостях”, в “Неделе” и главным образом в “Вестнике Европы”. Произведения свои, писавшиеся в виде отдельных очерков, но связанные между собою общей идеей, а иногда и одними и теми же действующими лицами, он издавал в виде отдельных сборников под общим заглавием. Большинство их выдержало по нескольку изданий, а предпринятый им незадолго перед смертью выпуск полного собрания сочинений в девяти больших томах разошелся тиражом шесть с половиной тысяч экземпляров

прежде, нежели завершился год после его кончины.

Мы пишем биографический очерк, а потому критическая оценка произведений Салтыкова не входит в нашу задачу. Да это и потребовало бы от нас гораздо больше места, чем мы располагаем, а потому посмотрим лучше, как он работал, как относился к литературе и, в частности, к журналу, с которым так тесно был связан.

В арендованных у Краевского “Отечественных записках” сначала главная роль принадлежала Некрасову: он ведался как с самим Краевским, так и с типографией, с цензурой, с конторой и вообще со всею “внешнею” стороною издания, читая в то же время некоторые рукописи и в качестве ответственного редактора – корректуры всего журнала. “Внутреннее” свое значение он делил и с виду даже как-то подчинял Салтыкову и Елисееву, которые также читали редакторскую корректуру всего журнала и заведовали: первый, вместе с Некрасовым – беллетристикой, а второй – так называемыми серьезными статьями и вторым отделом, за исключением переводных романов. Краевский в литературные дела совсем не вмешивался и никогда в редакцию не ходил, так что многие из сотрудников и в глаза никогда его не видели. После смерти Некрасова ответственным редактором сделался Салтыков. Сначала он по обыкновению опасался новой роли и принял ее неохотно, после неоднократных убеждений Елисеева. Ему казалось, что и не утвердят его, что и нареканий будет много на журнал и что, главное, подписка упадет. Когда же число подписчиков превысило десять с половиной тысяч, чего при Некрасове не было, то я живо помню, как он был этим удивлен и насколько этот успех был для него действительно неожиданностью.

Сколько самых неусыпных трудов, тревог и забот доставляли ему “Отечественные записки”, – об этом хорошо знают все сотрудники. Он читал рукописи по беллетристике, правил их и готовил к печати, просматривал корректуры всех отделов журнала, вел переписку с некоторыми из иногородних сотрудников, сам писал статьи (иногда по две в месяц, то есть статью и маленький фельетон), имел объяснения с цензурой и т. д., словом, он весь был в журнале, всего себя в него вкладывал и жил в нем душою. Работал он очень много, так много, как может работать только очень привычный и сильный работник. Трудно даже понять, как это согласовывалось и уживалось со слабостью его физических сил и давно уже начавшимися разными болезнями и недомоганиями; а объяснить себе это можно разве только одним: необыкновенной его любовью к литературе и той тесной связью, какая существовала между нею и личной его

жизнью. Весь досуг, все передышки между приступами болезни и ночные бессонницы, все печали и радости, мечты и помыслы – все отдавалось литературе. Жить для него – значило писать или что-нибудь делать для литературы. Как Некрасов говорит старику рассыльному, у которого болят ноги от ходьбы: “Жить тебе, пока ты на ходу”, – так можно было бы сказать и Салтыкову относительно литературы. Литература была для него тем же, чем земля для известного мифического героя, получавшего силу от земли, или сказочная живая вода для изрубленных в куски богатырей, которые, будучи ею окроплены, опять оживали, становились еще более сильными и отправлялись на новые подвиги.

Сказать, что он просто читал и готовил к печати рукописи, – значит мало сказать, потому что надо знать, как это делалось: в противоположность Некрасову и Елисееву он сильно марал и исправлял рукописи, так что некоторые из них поступали в типографию все перемаранными, а иные страницы и совсем вновь бывали переписаны на полях его рукою. Что это была за “египетская работа”, не всякий знает и не может представить себе, не зная близко журнального дела. Кроме главной проблемы – чтобы не испортить вещи и не столкнуться с авторским самолюбием тут много еще чисто технических затруднений: при соединении оставшихся частей, при изменении оставшегося текста, согласно выпущенным или измененным местам (чтобы не вышло несообразностей и противоречий), при соблюдении архитектуры целого и отдельных глав, при вписывании вставок и т. д., и т. д. Н. К. Михайловский рассказывает, например, о такой операции, произведенной Салтыковым над повестью Котелянского “Чиншевики”: он вытравил целиком на всем протяжении повести одно из действующих лиц со всеми его довольно сложными отношениями с другими, оставшимися действующими лицами. И Котелянский потом был благодарен Салтыкову за эту операцию, так как она улучшила повесть, и только удивлялся, как он ухитрился это сделать, как хватило у него на это терпения и внимательности.

Но тут, кроме труда и внимания, требовалось еще много чисто художественного такта, умения и тщательности в работе. Насколько успешно все это достигалось Салтыковым, лучше всего, мне кажется, можно видеть из того, что большинство авторов, более или менее постоянно появлявшихся в “Отечественных записках”, подобно Котелянскому, оставались довольны исправлениями и не только не вступали с ним в какие бы то ни было пререкания, но именно понимали, что произведения их выигрывали от его опытной руки. Случались,

конечно, иногда и обиды, когда авторами были слишком самомнительные люди, требовавшие, чтобы ни одного слова у них не было выпущено и изменено, или когда Салтыков, увлеченный работой и художественной правдой, делал в произведениях слишком крутые “перевороты”. Об одной из таких обид вспоминает, например, г-н Скабичевский: одна сентиментальная романистка непременно желала окончить свой роман смертью героини от чахотки, а Салтыков нашел, что той будет гораздо лучше выйти замуж за героя, и потому взял и повенчал их. Но таких случаев было очень мало; едва ли даже это не единственный случай. Зато гораздо чаще приходилось слышать то (о чем также припоминает г-н Скабичевский), что люди, не знавшие о тех операциях, какие производил Салтыков над произведениями второстепенных беллетристов, приходили нередко в удивление, отчего это те самые писатели, которые под редакцией Салтыкова помещают весьма недурные рассказы и повести, в другие издания приносят вещи ниже всякой критики и даже совсем неудобные для печатания. А с другой стороны, сделано также и такое наблюдение, что писатели, печатавшиеся прежде в “Отечественных записках” и бывшие вполне приличными, значительно изменились к худшему в смысле литературной выдержанности направления и порядочности, после того как стали писать в других изданиях, т. е. после того, как вышли из-под влияния известной литературной атмосферы.

Но в то время как Салтыков исправлял второстепенных и начинающих беллетристов, он совсем не трогал произведений больших талантов и тех сложившихся уже писателей, которые постоянно писали в “Отечественных записках”. В этих произведениях он ничего не изменял, хотя среди них и попадались вещи слабые или поспешно написанные, которыми он оставался недоволен и за которые роптал на авторов. И не исправлял он таких произведений вовсе не потому, что не мог, – он мог и поправлять их, и совсем не принимать, – а потому, что считал себя нравственно не вправе вмешиваться и как бы учить людей уже сложившихся, которые сами за себя ответственны. Если бы дело касалось “направления” и основная мысль произведения слишком противоречила репутации журнала, то это другое дело: тут он не замедлил бы снестись с автором относительно необходимых изменений или возвратил бы рукопись, а собственно литературную сторону дела, т. е. исполнение, приемы, слог и прочее, своим делом не считал. Невмешательство это простиралось иногда даже дальше литературной части, – до мысли, с которой Салтыков не был согласен, лишь бы только она не шла вразрез с общим

направлением и при условии, чтобы статья была подписана автором, т. е. чтобы отвечал за нее он сам и ее не принимали за редакционную.

Не касалась рука Салтыкова также всех статей второго отдела, которым заведовал не он, а ближайшие его сотрудники, а равным образом и не беллетристических статей первого отдела. Здесь он опять строго соблюдал невмешательство в то, что принадлежало другим. Во втором отделе ему принадлежали только переводные романы, печатавшиеся в приложении, а остальное все читалось, выбиралось, отдавалось в типографию и исправлялось не им. Он только прочитывал редакторскую корректуру и смотрел, чтобы не было “нецензурных” мест, да и то, если таковые встречались в статьях постоянных сотрудников, не вымарывал их без их ведома и согласия. Он обыкновенно только отмечал и указывал им сомнительные места, а иногда и то, что ему почему-либо не нравилось или казалось неудобным. Равным образом и ему указывали те из сотрудников, кому посылались корректуры всего журнала, то, что им казалось сомнительным и неподходящим в его отделе и в его статьях. И каких бы то ни было обид и недоразумений при этом никогда не возникало. Он не только умел избегать ненужного вмешательства, но и доверять людям, и не только доверять, но и уступать. Это – редкие черты его характера, которые говорят не только об уме, но и о его искреннем сердце.

Как ничего не изменял он в статьях постоянных сотрудников не потому, что не мог изменять, так и исправлял он столь усиленно начинающих и второстепенных беллетристов вовсе не потому, что мог делать с ними что хотел, а потому, что это было лучше в разных смыслах, лучше как для журнала, так и для них самих. Вместо недовольства, которого можно было бы ожидать, если бы мотивы были иные, он привлек к журналу и сгруппировал вокруг него целую группу беллетристов, благодаря чему, без всякого преувеличения можно сказать, ни в одном из русских журналов ни прежде, ни после не было такой богатой беллетристики, как в “Отечественных записках”. Иногда ее, эту прозу, упрекали в “избытке мужика”, но, тем не менее, все постоянно читали, не исключая и тех светских людей, которые делали подобные упреки. И создано это было главным образом Салтыковым, потому что остальные либо никакого касательства к беллетристике не имели, либо помогали ему только советом да предварительным просмотром рукописей, когда их скоплялось слишком много в редакционном портфеле. Я сказал бы даже больше, что создано это было исключительно Салтыковым, если бы раньше него не обращал особого внимания на беллетристику

Некрасов, и если бы не помогал Елисеев, который хотя и не имел непосредственного касательства к беллетристике, но отлично понимал важное ее значение для публики и журнала и, кроме того, постоянно сглаживал неровности и шероховатости его характера по отношению к пишущей братии, особенно к начинающим писателям, не знавшим еще салтыковского прямотушия и манеры говорить. Тем не менее, если начало дела принадлежало Некрасову, а поддержка Елисееву, то дальнейшее его развитие и непосредственные старания принадлежат Салтыкову. Он больше всех вложил труда и забот в беллетристику “Отечественных записок”.

Повторяю, работать так, как работал Салтыков, не всякий может. Работа для него превратилась не только в обычное занятие, но и в какую-то непреодолимую потребность. Он не мог не писать: ни какие-нибудь дела, ни усталость и желание отдохнуть, ни знакомства и отношения, ни даже сама болезнь не могли удержать его от этого. Сплошь и рядом совсем больной, он садился к письменному столу и писал своим медленным, сжатым почерком страничку, другую, сколько мог. Я застал его раз пишущим на подоконнике, во время переезда на дачу, когда в кабинете все было уже уложено, и стол был чем-то загроможден; а за границей он ухитрялся иногда писать даже на маленьком круглом столике, урывая несколько минут между прогулкой и завтраком или между ванной и обедом, у него одна работа кончалась, другая начиналась, а иногда две-три работы шли рядом; случалось, что ранее начатые работы иногда откладывались на несколько лет, а более поздние печатались безостановочно, и тогда, по окончании их, он снова брался за какую-нибудь оставленную работу. Зависело это от разных причин: и от большей своевременности и необходимости позднее начатых работ, и от того, что они им сильнее овладевали, так что оставить их было не так-то легко. Иногда он жаловался на то, что работа затягивается и надоела ему, а расстаться с нею все-таки не мог. Так, например, жаловался он на “Пошехонскую старину”, которую кончал уже совсем больной, незадолго перед смертью, а между тем задумывал новое большое произведение и даже сделал к нему наброски. Вот что говорил он мне:

– Начал я “Пошехонскую старину” действительно с удовольствием, а потом надоела она мне ужасно, просто измучила... Образы за образами поднимаются и лезут в голову, а возиться с ними и скучно, потому что все это уже давно известно, и тяжело, потому что я ведь опять точно переживаю то время. А тут еще болен... Право, иногда кажется, что не кончу. Впрочем, нисколько об этом не жалею: у меня на всякий случай окончание

есть, всего-то в одну страничку. Если сам не успею написать, так пусть другой кто-нибудь напишет и скажет, что автор предполагал кончить свою историю зимним помещичьим весельем, пошехонским раздольем. А вот о чем жалею, – продолжал он после небольшой паузы, – для этого стоило бы начать снова жить: я задумал новую большую вещь – “Забытые слова”.

И он рассказал программу этой новой интересной работы. Салтыков вообще очень любил говорить о том, что предполагал писать, и развивать планы задумываемых им работ, причем вспоминал разных лиц, разные обстоятельства и случаи, о которых должна была идти речь, любил также читать свои рукописи. Насколько публично читал он нехорошо, настолько же с удовольствием можно было слушать его в кабинете. Читал он просто, без всякой манеры, без ударений, без интонации и вообще без всякой искусственности, но увлечение предметом невольно передавалось и вам. Не знаю, были ли у Салтыкова вещи, написанные сразу. Вероятно, были, но те, которые он мне читал, были в нескольких вариантах или, лучше сказать, редакциях, то есть, были написаны раз, потом поправлены, изменены и переписаны. Помню, одно из “Писем к тетеньке” было в двух редакциях, а сказка о киселе – в трех. Над этой крошечною сказкою Салтыков долго сидел и говорил о ней с не меньшим увлечением, чем и о самоотверженном зайце и бедном волке, которых тоже читал, только уже не в рукописях, а в корректуре. С какою скромностью он выслушивал замечания и принимал или отвергал их! В этом отношении он представлял совершенную противоположность другим писателям, которые ни единою строчкою из написанного не поступятся. Относительно своих статей он всегда испытывал робость, что у него плохо вышло, и всегда, бывало, спрашивает:

– Скажите, пожалуйста, а мою статью вы просмотрели? Ничего у меня вышло? Кажется, плохо?

На замечания он никогда не обижался. Хотя и редко приходилось их делать, но приходилось; а по тому вниманию, с каким он выслушивал обыкновенно высказываемые мнения, лучше всего можно было видеть, до какой степени он дорожил тем, что писал, и интересовался всяким искренним отзывом других о написанном. Эта строгость к себе и привычка спрашивать остались у него до самой смерти.

Салтыков вполне искренно не доверял своему огромному таланту и думал, что он только трудом и может брать. Он вообще скептически относился к всемогуществу таланта, особенно если талантливые люди были слишком проникнуты самоуверенностью

и думали выезжать на одном только таланте, без труда и знаний. Признавая их талантливость, он, однако же, довольно часто иронизировал над ними, когда представлялся какой-нибудь повод, говоря: “Это – гениальные натуры, которых простые смертные даже понять не могут. Я тоже не понимаю, потому что я – не гениальный писатель, – и с гордостью добавлял: -Зато я – работник”. Если он работал для журнала из месяца в месяц, если он не любил, чтобы произведения его залеживались, то это не мешало ему тщательно обдумывать их, по несколько раз переписывать и переделывать рукописи. Работник он действительно был замечательный. Вот что сам он говорит в одном наброске, найденном в его бумагах:

“Я никогда не мог похвалиться ни хорошим здоровьем, ни физической силой, но с 1875 года не проходило почти ни одного дня, в который я мог бы сказать, что чувствую себя изрядно. Постоянные болезненные припадки и мучительная восприимчивость, с которою я всегда относился к современности, положили начало тому злему недугу, с которым я сойду в могилу. Не могу также пройти молчанием и *непрерывного труда: могу сказать смело, что до последних минут вся моя жизнь прошла в труде, и только когда мне становилось уже очень тяжело, я бросал перо и впадал в мучительное забытие*”.

Смотря на Салтыкова, нельзя было не удивляться, как ему не мешают работать посетители. Ни приемных и неприятных дней, ни особых приемных и неприятных часов, как у других, у него не было. Положим, что к нему не во всякое время ходили; но утром, часов с 11 и до обеда, его все и всегда могли застать и шли к нему совершенно свободно. Случалось иногда заходить к нему и вечером, и опять никто не говорил, что он не принимает или что его дома нет, и опять приходилось кого-нибудь встречать у него. Правда, что он не со всеми и не всегда бывал любезен; но надо же войти в положение человека, которому мешают писать, которому несколько раз приходится отрывать от рукописи и заниматься разговорами, может быть совсем из другой области, чем та, о которой он думал, а сплошь и рядом и совсем для него не интересными.

Одни деловые разговоры по журналу, продолжавшиеся обыкновенно недолго, и те могли докучать и в общей сложности отнимали немало времени. Каждый знает, бывало, когда он занят, и думает ограничиться несколькими словами и несколькими минутами, а проговорит полчаса, час; а тут, смотришь, и еще кто-

нибудь пришел. Однажды я зашел к нему таким образом “на минутку” и застал его очень сконфуженным:

– Представьте, какая штука со мною сейчас вышла, – сказал он, здороваясь, – просто опомниться не могу, так стыдно... Ждал я вчера к себе Боткина: третьего дня письмо ему написал и просил посмотреть меня; а он вчера не приехал. Сегодня же, как нарочно, с самого утра гости, то один, то другой; то по целым месяцам глаз не кажут, а тут вдруг все соскучились!.. Мне же, право, нездоровится, и я совсем сегодня был не расположен к визитным разговорам, а думал писать. Наконец, все посидели, поговорили и распрощались; только было я к столу, как вдруг опять кто-то приходит. Вижу, Ратынский... так мне стало досадно, что я отвернулся к окну. “Здравствуйте”, – говорит. Я подал руку, поздоровался. “Как, – говорит, – ваше здоровье?” – Да ничего, как видите. “Погода, – говорит, – нынче хорошая”. – Ну, и слава Богу, – говорю, – с чем вас и поздравляю. “Гуляли ли?” – Нет, не гулял. – Еще что-то спросил, я так же коротко ответил. Сидим и молчим. Я тут вот и в окно смотрю, а он на вашем месте. И прошло так, должно быть, с полчаса. Наконец, по всей вероятности, это ему наскучило, и он поднимается и начинает прощаться: “Я, – говорит, – к вам лучше в другое время заеду”. Тут только я взглянул, и можете себе представить мое удивление: передо мною был вовсе не Ратынский, а Боткин. Каково положение! Как я раньше его не узнал, – просто понять не могу. Если уж в лицо не смотрел, так по походке, по голосу, наконец, по вопросам можно было узнать. Совсем про него забыл. Но хуже всего то, что ничего ему не сказал, что принял его за Ратынского. Неловко как-то было. Так он и уехал. Что теперь обо мне он может подумать? Совсем, скажет, человек с ума сошел, или отнесет это к тому, что я обиделся за то, что он вчера же не приехал, а я, право, об этом и не думал, потому что знаю, как он бывает иногда занят. К тому же он всегда ко мне так любезен и внимателен. Никогда я его так не принял бы. Думаю письмо ему написать...

Не знаю, писал ли что-нибудь Салтыков Боткину или как-нибудь иначе объяснился, – лично или через знакомых, – знаю только, что отношения Боткина к нему вследствие этого случая не переменились, да дело и не в этом, а в том, что ему нередко мешали работать и приводили его в дурное настроение, и что, несмотря на это, он все-таки не запирает своих дверей и ухитрялся много работать.

У Салтыкова было два рода знакомств и отношений: чисто домашние и литературные, которые он весьма резонно разделял и никогда не смешивал, и не смешивал, я думаю, не столько ради

ограждения домашней жизни, сколько ради ограждения литературы от всего ей стороннего и чуждого. Литература была для него, особенно в тот период, о котором мы говорим, главным фокусом и фактором его жизни. Он считал ее не только важным и серьезным делом, но едва ли не самым важным и серьезным из всех земных дел. Он видел в ней высшее служение обществу и собственное личное призвание, называл ее даже “вечным делом” и вообще был связан с нею самым тесным образом как нравственно, так и материально, потому что, *volens-voles*, она являлась и источником существования – источником, подверженным многим случайностям и переполненным терниями. Литература занимала в его жизни такое большое место и играла такую роль, что остальные интересы отступали на задний план. Вот что сам он говорит в наброске, который мы цитировали выше: “...наконец, закрытие “Отечественных записок” и болезнь сына окончательно сломили меня. Недуг охватил меня со всех сторон” и т. д. А в “Приключении с Крамольниковым”, изображающем его собственное душевное состояние в это время, читаем следующее: у коренного пошехонского литератора Крамольникова “не было никакой иной привязанности, кроме общения с читателем... В этой привязанности к отвлеченной личности было что-то исключительное, до болезненности страстное. Целые десятки лет она одна питала его и с каждым годом делалась все больше и больше настоятельно. Наконец пришла старость, и все блага жизни, кроме одного, высшего и существеннейшего, окончательно сделались для него безразличными и ненужными”, и все разнообразие жизни и весь интерес ее сосредоточились “в одной светящей точке”, т. е. в литературе и в том же общении при ее помощи с читателем. Затем в одном из “Писем к тетеньке” Салтыков говорит, что литература ему особенно дорога потому, что на ней с детства были сосредоточены все его упования:

“Весь жизненный процесс этого замкнутого, по воле судеб, мира был моим личным жизненным процессом; его незащищенность – моей незащищенностью; его замученность – моей замученностью; наконец, его кратковременные и редкие ликования – моими ликованиями. Это чувство отождествления личной жизни с жизнью излюбленного дела так сильно и принимает с годами такие размеры, что заслоняет от глаза даже широкую, не знающую берегов жизнь”.

Не совсем, конечно, заслоняет, потому что Салтыков смотрел на литературу прежде всего как на отражение жизни, считал, что

общение с жизнью “всегда было и всегда будет целью всех стремлений литературы”, и, сообразно с этим, возлагал на нее и великие упования, и большую ответственность. Литература представлялась ему одним из самых могущественных средств воздействия на общество и вместе с тем делом, имеющим не минутное только и скоропреходящее значение, а соприкасающимся “с идеею о вечности” делом в своем роде *единственным*, где “мысль человеческая может оставить прочный след”. Вот что говорит он в “Круглом годе” нескольким бесшабашным соотечественникам, мечтающим в Ницце об искоренении литературы:

“Милостивые государи! Вам, конечно, небезызвестно выражение: *scripta manent*. Я уже, под личную за сие ответственностью, присовокупляю: *semper manent, in secula seculorum!* Да, господа, литература не умрет!.. Все, что мы видим вокруг нас, все в свое время обратится частью в развалины, частью в навоз, – одна литература вечно останется целою и непоколебленною. Одна литература изъята из законов тления, она одна не признает смерти. Несмотря ни на что, она вечно будет жить и в памятниках прошлого, и в памятниках настоящего, и в памятниках будущего. Не найдется такого момента в истории человечества, при котором можно было бы с уверенностью сказать: вот момент, когда литература была упразднена. Не было таких моментов, нет и не будет. Ибо ничто так не соприкасается с идеей о вечности, ничто так не поясняет ее, как представление о литературе”.

Затем далее читаем:

“Я страстно и исключительно предан литературе; нет для меня образа достолюбезнее и похвальнее, дороже образа, представляемого литературой; я признаю литературу всецело со всеми уклонениями и осложнениями, даже с московскими кликушами”.

Допуская в литературе заблуждения, так как сама же литература, к вящему выяснению истины, и исправляет их, Салтыков верил, что московское кликушество со всем его обскурантизмом, со всей его непреднамеренной и преднамеренной злобою и ложью не выдержит открытой и равной борьбы с истиной, что все низменное и темное исчезнет, пройдет и “одни только усилия честной мысли останутся незыблемыми”.

Таково, говорит он, мое глубокое убеждение, и “не будь у меня этого убеждения, этой веры в литературу, в ее животворящую мощь, мне было бы больно жить”. Не менее сильно любовь к литературе сказалась и в маленькой предсмертной приписке Салтыкова в письме к сыну, где он как бы завещает ему эту любовь, говоря: “паче всего люби родную литературу и звание литератора предпочитай всякому другому”.

Немудрено, что Салтыков жертвовал литературе и здоровьем, и связями, и отношениями. Сам он мне раз говорил, что литература была причиной того, что он перессорился с большинством своих родных и прежних знакомых, что бывшее его начальство, товарищи и сослуживцы начали коситься, когда увидели, что он всецело отдался литературе, да еще отрицательного направления. Связей своих с высшим обществом он, впрочем, и сам не поддерживал. Вначале они как-то сами собою держались, а потом хотя и не совсем прекратились, но все более и более ослабевали. С одними он разошелся принципиально, с другими лично как человек строгий и не любивший компромиссов, третьим, заметив с их стороны охлаждение, не хотел кланяться: слишком не соответствовало это его натуре.

– Я ни у кого не заискиваю, – говорил он с достоинством, – никому не кланяюсь и ни у кого не бываю; ко мне еще по старой памяти кое-кто заходит, да и то редко.

У него было несколько человек хороших знакомых, по большей части стоявших близко к литературе и относившихся к ней совсем иначе, которыми он и ограничивался. Это были знакомства постоянные, многолетние, которыми он дорожил, которые не налагали на него уз высшего света, не стесняли и не заставляли казаться в ином виде, чем он был на самом деле. С ним не считались визитами, он мог реже бывать, чем у него бывают, мог ехать в обыкновенном пиджаке, в котором ходил каждый день, мог, садясь за карты, ворчать сколько ему угодно, и т. д. А затем у него были знакомства чисто литературные, как прежние, так и новые, которые создавались “Отечественными записками”. Но все-таки благодаря своим прежним связям в высшем служебном мире он получал обыкновенно очень рано сведения о недовольстве журналом и литературой вообще, о том, что ей предстоит впереди и что проектируется на будущее время. Можно было также иногда встретить у него, помимо литературных и обычных знакомых, и кого-нибудь из людей совершенно иного круга. К некоторым из них, как, например, к графу Лорис-Меликову, которого он раньше знал, и который был в хороших отношениях с Некрасовым, он еще хорошо относился,

но некоторые знакомства его положительно тяготили. Помню, например, как он был недоволен и сердился, узнав, что к нему собирается с визитом Трепов. Знаменитый петербургский градоначальник после отставки жил одно время в одном с ним доме на Литейном, познакомился на прогулке с его детьми и выразил желание и с ним познакомиться, сказав, что думает зайти для этого на днях...

– Скажите, пожалуйста, для чего это нужно? – волновался Салтыков. – Что я с ним буду говорить?! Он литературой никогда не занимался, а я по полиции никогда не служил, что же у нас общего? Если просто посмотреть на меня, любопытства ради, так не настолько я интересен. Он, наверное, видал многих... интереснее меня...

В расположении своем к людям Салтыков был очень постоянен; но если это расположение в качестве личного чувства сталкивалось с вопросом о нелицеприятном и самоотверженном служении литературе, ему становилось очень неприятно. В отрывках из его писем к Н. К. Михайловскому, напечатанных в “Русской мысли”, находим, между прочим, такого рода строки по поводу некоторых помарок, сделанных им в статье Михайловского:

“Я утром ждал вас, но не дождался. Впрочем, корректуры с моими пометками у вас... Будьте так добры, сделайте мне эти уступки... Я зачеркнул, между прочим, и упоминание об Анненкове. Если хотите, восстановите его, но он мой приятель, и я как-то не возвысился еще до того, чтобы оставить отца и мать и прилепиться к журналу”.

То же самое было и со мной по поводу Кавелина. Кавелин выпустил книжку о “крестьянском вопросе”. Я написал рецензию, где не похвалил его и особенно подчеркнул политическую неопределенность его взглядов, стремление всегда стать на какую-то такую высоту, с которой всегда получается двойное решение вопроса: и так, и этак. Получаю от Салтыкова письмо. Прихожу и вижу у него на столе корректуру.

– У меня, – говорит, – есть к вам большая просьба, которую, собственно говоря, я не вправе был бы делать, потому что совершенно согласен с вашим отзывом. Нам иначе и нельзя относиться к кавелинской эквилибристике, но тут вопрос чисто личный, мой: не ссорьте меня, пожалуйста, с ним... Человек он, право, недурной, а уж это так он по-профессорски устроен. Я уж и так для литературы порвал решительно все свои прежние отношения: у меня ведь из прежних приятелей и знакомых

осталось всего-навсего два-три человека. Пусть же хоть они останутся! Сделайте мне, пожалуйста, эту уступку: не будем печатать эту рецензию.

Разумеется, я согласился. Говоря это, Салтыков возвышал тон, и я ясно видел, что он и конфузится, и сердится, что у него остается нечто, с чем жаль и трудно расстаться. Хотя это нечто было такое маленькое, естественное и обыкновенное, что не стоило бы о нем даже и говорить, так как у каждого писателя есть отношения и лица, которые он щадит; но его это уже беспокоило.

Слишком цельная у него была натура, тяготившаяся всякими компромиссами. И при этом, очевидно, ему и в голову не приходило искать каких бы то ни было оправданий, а прямо решалось, что он не поднялся до известной высоты, до которой иные возвышаются. Уж он ли, кажется, не оставил много ради журнальной деятельности и правды; но раз являлось обстоятельство, мешавшее цельности понятия, он не мог чувствовать себя удовлетворенным. Последовательность и строгость к себе позволяли ему прилагать такую же мерку и к сотрудникам. Больше всего он сердился на недостаточное усердие и внимание к журналу. Большинство сотрудников, и я в том числе, были значительно моложе Михаила Евграфовича, а потому он относился к нам иногда как старший к младшим; но обидного в таких отношениях ничего не было, так как вы сейчас же убеждались и в его искреннем к вам расположении, и – весьма нередко – в правоте. Сам он, как я уже говорил, вкладывал в журнал всю душу и привнес в дело чисто служебную привычку к аккуратности и пунктуальности. Требовал того же и от других.

– Вы как следует никто не работаете, – обыкновенно говорил он, – и относитесь к делу спущая рукава. Вы все думаете, что мы вечно будем жить. Придется же когда-нибудь и вам самостоятельно вести журнал... Дело это вовсе не шуточное. Это большое дело, а для вас все равно.

– Из чего же это вы заключаете?

– Как из чего, слепой я, что ли? Никогда посоветоваться не придете, каждый что вздумает, то и пишет. Я еще, право, удивляюсь, как у нас книжки более или менее согласно составляются... Да и работаете-то как! Напишете лист с четвертью и думаете, что в пределах земных совершили все земное. Я больше вас пишу.

– Не всякий так может работать, как вы.

– Приучайте себя.

– Да уж поздно приучать-то.

– Почему?

– Да потому, что мы уж не дети.

– А старики, да? Из вас кто старше, – N.? Позвольте узнать, сколько ему лет?

– Почти сорок.

– Ах, какой удивительный возраст! Я в 40 лет только начал работать как следует.

Иной раз просто нельзя было не рассмеяться, но на это всегда следовало замечание, что “смеяться мы умеем”, и приводился какой-нибудь такой аргумент, который должен был показать, что смешного тут ничего нет.

– Вот вы смеетесь, а не угодно ли посмотреть *вот* (он показывал обыкновенно чью-нибудь всю перемаранную корректуру, над которою сидел). Меня одни наши переводчики замучили своими переводами.

Почему же вы сами это делаете и не поручите кому-нибудь? Ведь никто из нас не отказывается...

– Потому что желания не вижу. Я не знаю, согласитесь вы на это или нет. Это – работа египетская, каторжная.

Мы пробовали брать у него редакторские корректуры, но это было бесполезно, потому что он все равно над ними сидел, поправляя слог, изменяя абзацы и т. п., и сидел не над исправленными уже формами, а над теми, которые и ему посылались одновременно с нами. Такой уж это был беспокойный и заботливый человек.

ГЛАВА V. САЛТЫКОВ КАК ПИСАТЕЛЬ И СЕМЬЯНИН

Внешние особенности произведений Салтыкова. – Разнообразие фигур в его сатирах. – Заразительный юмор его личных рассказов. – Умение подмечать в людях их скрытые недостатки и снимать с лицемеров маски. – Меткость его характеристик. – Отвращение Салтыкова к скабрёзностям. – Кое-что из воспоминаний о нем С. Южакова, Н. Михайловского, А. Скабичевского и Я. Абрамова. – Соединение суровости с деликатностью, – Одинаковость обращения со всеми людьми. – Денежные отношения Салтыкова с сотрудниками журнала. – Семейная заботливость и родительская нежность

Хотя критическая оценка произведений Салтыкова не входит в нашу задачу, но мы не можем все-таки не сказать о них нескольких слов. Прежде всего следует заметить, что прикладывать к ним какую-либо из установившихся критических мерок довольно трудно. Он до того перетасовывал все роды и виды литературы: поэзию с публицистикой, эпическое повествование с сатирой, трагедию с комедией и т. д., – что, читая его сочинения, трудно сказать, что именно перед вами, а между тем впечатление получается сильное, цельное и живое. У него сплошь и рядом нет никакой внешней архитектуры, а между тем есть произведения, которые по глубине мысли, яркости красок и силе художественного впечатления могут быть сопоставлены с произведениями лучших европейских писателей и с образцами всемирной литературы. Он совершенно игнорировал установившиеся рамки и формы и руководился больше всего овладевавшими им в данное время идеями и теми возвышенными целями, которых желал достигнуть; поэтому произведения его выходили в высшей степени своеобразными. А потому при оценке лучше всего руководствоваться их идейным содержанием и тем непосредственным, живым впечатлением, какое они производят на читателя. Мы найдем у Салтыкова целые коллекции сознательных и бессознательных лицемеров, лунов, жестокосердых людей, самодуров, безличных “чего изволите” с национальными чертами и т. д.; а вместе с тем найдем также не менее богатую коллекцию униженных и оскорбленных, то сохраняющих еще в душе чувство недовольства и надежды на нечто лучшее, то совсем уже задавленных жизнью и не протестующих, а молча несущих гнет или же молча ждущих,

когда наступит на их улице праздник, чтобы без всякой пощады и сострадания мстить своим притеснителям, как это делает Анфиса Порфирьевна в отношениях с мужем в “Пошехонской старине”. Вряд ли у кого-либо из других писателей окажется такое обилие и разнообразие фигур, как у Салтыкова. Все слабое и угнетаемое, начиная с детей, над которыми производятся всевозможные эксперименты и которые в защиту себя ничего сказать не могут, и, кончая крепостной подневольной массой, находило в нем горячую защиту, а все стеснявшее жизнь, напротив, встречало недремлющего противника. Его сатира часто была единственным возмездием злу и апелляцией к разуму, чести и совести. Иногда он повторялся, что и сам признавал, когда его в этом упрекали; но повторений у него все-таки немного и не так уж они буквальные и безынтересны, чтобы ставить их ему в укор. Объяснял он это очень просто и вполне естественно, а именно тем, что он всегда был занят исключительно злобами дня, к которым приурочена была вся его литературная деятельность и которые в течение нескольких десятков лет тоже повторялись с удручающим однообразием. Есть для этого и другие объяснения, лежащие в самих условиях журнальной работы; наконец, Салтыкову приходилось иногда возвращаться к сказанному с целями полемическими.

Кто знал лично Михаила Евграфовича, тот при чтении его сочинений получает особое удовольствие, потому что писал он часто то, что говорил, и писал совершенно так же, как говорил (только лирических отступлений да подробностей в разговоре обыкновенно не встречалось), так что точно видишь его перед собою и слышишь его голос.

А видеть его всегда было интересно. Смотря по состоянию здоровья и настроению, он в редакции или говорил только о текущих делах по журналу и коротко, как бы нехотя, отвечал на вопросы, или начинал что-нибудь рассказывать: по большей части какие-нибудь слухи и новости, имевшие общественное значение, проекты разных мероприятий, касавшиеся преимущественно литературы, причем нередко можно было слышать обычный его возглас: “Каково положение!” Настоящее всегда сказывалось и сопоставлялось с прошлым, так что можно было слышать от него и воспоминания как из своей прежней жизни, так и из жизни некоторых лиц высшего общества, из которых одни были его товарищами по школе, а с другими – как, например, с графом Д. А. Толстым, – судьба свела его потом, по выходе из школы. Продавши подмосковное имение, Салтыков купил небольшое имение под Петербургом^[5] и пытался там хозяйничать, но испытывал только неудачи. Эти неудачи, в связи с самим

способом приобретения имени, тоже неудачным, были темой целого ряда живых и интересных рассказов, которые потом вошли в “Монрепо”. Монрепо это в конце концов также было продано, принеся хозяину только убытки. Нередко Салтыков начинал также рассказывать что-нибудь такое, над чем нельзя было не смеяться, особенно глядя при этом на его почти всегда серьезное лицо. По большей части это была действительность, изукрашенная его фантазией. Обыкновенно в таких случаях присутствовавшие хохотали самым неудержимым образом, сам же он никогда громко не смеялся, а только изредка улыбался, да и то лишь в тех случаях, когда добродушно рассказывал что-нибудь комическое про знакомых или когда предмет, о котором шла речь, был незначителен и только забавен. Смешить – вовсе не было его целью; напротив, он всегда боялся прослыть писателем “по смешной части” и даже в разговоре оставался иногда недоволен тем, что смеются, хотя мог бы уж, кажется, привыкнуть к этому и допускать, что нельзя не смеяться, слушая смешные вещи. Зависело это от совершенно своеобразных свойств его рассказа и столь же своеобразного отношения к тому, о чем он говорил: он часто возмущался и негодовал, но в то же время придумывал для предмета негодования одно положение смешнее другого, и чем он больше останавливался на таком предмете, тем, кажется, неистощимее становилась его фантазия. Это было чисто личною его особенностью, чисто личным оружием, как хобот у слона, как зубы и когти у медведя, – оружием, которым он владел в совершенстве и которое пускал в ход чисто рефлексивно, хотя в то же время и не бессознательно, а постоянно держа его под контролем и руководством разума.

Он не мог спокойно и хладнокровно относиться к тому, что было бессмысленно, бессовестно, фальшиво, надменно, цинично, словом, что возмущало его чувство и не мирилось с логикой, и сейчас же реагировал на это как мог и умел, как находил лучше и целесообразнее. Людей и предметы, которые в этом отрицательном смысле обращали на себя его внимание, он всегда почти освещал со стороны совершенно неожиданной, самой прозаической, характеризовал их необыкновенно метко несколькими штрихами и открывал в них какую-нибудь новую глупость или гадость, которых вы, может быть, и не подозревали. К таким скрытым и приличия ради прикрытым глупостям и гадостям он был особенно беспощаден и вытаскивал таких людей на свет без всякой церемонии, во всей их наготе, в наиболее показной и неудобной для них форме: смотрите, мол, какая это гадина, какая скотина! Он сердился при этом на них, но до злобной вражды и ратоборства с ними редко доходил, а по

большей части смотрел на них с известной высоты общечеловеческого и своего личного достоинства. Это была, с одной стороны, настоящая мера вещей, а с другой, если хотите, известная доля душевной мягкости и художественной объективности.

Рисуя ужаснейших злодеев и негодяев, он или указывал причины и условия, сделавшие их такими, или искал способов воздействия на них, пробуждения в них стыда или, по крайней мере, страха перед судом детей и потомства, вообще, верил в возможность просияния злодейской души и не мог понять своей человеческой душой злодейства темного и совсем уж беспросветного. Может быть, в отношении истины и самого взгляда на такого рода отрицательные явления это было неправильно, но зато это поддерживало в нем веру в человеческую природу и спасало от разочарования.

По всей вероятности, это и подало повод в 70-х годах одному критику посмотреть на его смех как на смех больше для смеха, потому будто бы и не особенно обидный тем, на кого он направлен. Какой это было ошибкой со стороны талантливого критика – нечего, конечно, и говорить. Салтыков опроверг это всей своей как прежней, так и в особенности последующей деятельностью, опроверг целым рядом произведений, возбуждающих не только смех и совсем смеха не возбуждающих. Были вещи, над которыми Салтыков не смеялся, которые точно подавляли его, и над которыми и другие тоже не смеялись, когда он о них говорил или рассказывал. И таких вещей было немало. Были также вещи, над которыми он не смеялся по другим причинам, чтобы не дать оружия в руки врагам, чтобы даже как-нибудь косвенно не поддержать реакционных усилий, или над которыми хоть и смеялся в частной беседе, но никогда не напечатал о них ни строчки, несмотря на то, что мог бы создать пресмешные вещи. Повторяю: смех никогда не был для него целью, а был только средством. Но если бы даже он ограничился только смехом, только приклеиванием позорных ярлыков и надеванием дурацких колпаков на людей, которые этого заслуживали, то и это было бы уже большой заслугой: общественный смех есть признак сознания и критического отношения к тому, что считалось дотоле выше каких бы то ни было сомнений, что незаслуженно пользовалось авторитетом и злоупотребляло им. Можно указать случаи, когда смех Салтыкова достигал именно той цели, какую он имел в виду; можно указать также и людей, которые до самой смерти ходили, а другие и теперь еще ходят и будут ходить с его ярлыками.

В мужском обществе и тем более в своем кружке Салтыков в

выражениях не стеснялся, и замечательно, что это никогда не производило дурного впечатления и не носило дурного характера, как у других. Вот уж именно: то же слово, да не так молвится. Вы ясно видели, что говорит это человек несомненно нравственный, который делает нецензурные сравнения только потому, что так короче и изобразительней выходит, что, наконец, самому предмету, о котором он говорит, наиболее приличествует именно такая форма выражения. Отчасти это можно видеть и в некоторых его сочинениях, где тоже попадаются иногда кое-какие словечки и положения, соответствующие нескромному характеру и свойствам действующих лиц, но где вы все-таки не найдете скабрёзности. Салтыков вообще не терпел скабрёзности и порнографии, особенно в литературе. Один из бывших сотрудников “Отечественных записок” (С. Н. Южаков) рассказывает о нем, между прочим, в своих воспоминаниях, почему он однажды не принял повесть начинающего автора и как не мог удержаться, когда тот пришел за ответом, чтобы не сказать в его присутствии случившимся тут же сотрудникам: “Ведь вот автор – совсем юноша... а мне, старику, было стыдно читать его повесть, столько скабрёзности”. Скабрёзность всегда его шокировала, даже у известных писателей и в хороших произведениях.

Мы знали Салтыкова главным образом в литературных его отношениях, и в этом случае, мне кажется, лучшей для него характеристикой может служить то удивительное единодушие, какое высказали все писавшие о нем сотрудники. Не могу не привести нескольких строк из воспоминаний своих бывших товарищей, как для того, чтобы показать их сходство, так и для того, чтобы избежать повторений.

Н. К. Михайловский говорит, что Салтыков часто был резок, раздражителен, несдержан в выражениях, и что внешность его только усиливала это впечатление: резкая перпендикулярная складка между бровей на прекрасном открытом лбу, сильно выпуклые глаза, сурово и как-то непреклонно смотревшие прямо в глаза собеседнику, грубый голос, угрюмый вид, “но иногда это суровое лицо все освещалось такою почти детски добродушной улыбкой, что даже люди, мало его знавшие, но попадавшие под свет этой улыбки, понимали, какая наивная и добрая душа кроется под его угрюмой внешностью. О тех, кто его близко знал, нечего и говорить. Он не мог не поворчать в разговоре с кем бы то ни было... но все знали, что это только воркотня и что в конце концов она ничем не отзовется на деле и действительных отношениях... Это был истинно добрый человек, всегда готовый помочь нуждающемуся словом и делом. Мелких же чувств

мстительности, подозрительности, соперничества в нем не было даже самых слабых следов”.

А. М. Скабичевский сообщает: в обществе ходили баснословные слухи о мнимых суровости, жестокости и даже бранчивости, с какими Салтыков будто бы обращался с людьми не только близкими, но и совершенно незнакомыми, которых в первый раз видел. Вследствие этих слухов начинающие авторы, впервые являвшиеся к нему, сильно потрухивали и робели.

“Но эти слухи крайне преувеличены. Действительно, его лицо носило по большей части суровое и несколько даже мрачное выражение, и в нервном голосе очень часто слышались ноты болезненной раздражительности, что могло пугать каждого непривычного человека. Но все это не мешало ему быть человеком, в сущности, крайне добрым, с мягким сердцем и даже нежным сердцем, неспособным отказывать в чем-либо людям и вообще оставаться безучастным к их нуждам”. “Часто случалось, – говорит он дальше, – что к нему обращались за авансом сотрудники, забравшие немало уже денег и потерявшие, по-видимому, всякое право на новые авансы. Салтыков выходил из себя в таких случаях. Грозный голос его начинал раздаваться по всем комнатам редакции: “Это невозможно! – кричал он. – Это черт знает что такое!.. Мы и без того роздали безвозвратно до 30 тысяч! Что же с нами будет, наконец, чем же это кончится?” и т. д. И кончалось всегда тем, что... он брал лист бумаги и писал ордер в контору о выдаче сотруднику суммы, которую тот просил”.

Равным образом и состоявшие при редакции конторщики, метранпажи и другие служащие несколько его не боялись и прямо говорили: “Что нам Михаил Евграфович! Он только так кричит, а мы его несколько не боимся”. Однажды при Скабичевском он с ужасным гневом напустился на метранпажа за то, что тот слишком скоро набрал весь отданный в типографию материал для книжки и явился за новым. “Чего вы торопитесь! – кричал он. – Едите вы, что ли, рукописи? Ему не успеешь дать рукопись, уж у него и готово. Да что вы в неделю хотите набрать книжку, что ли?... Набрали, так и ждите теперь, а от меня вы больше ничего раньше недели не получите, ничего!..” Понятно, что, слушая такую распекацию, метранпаж еле удерживался от смеха, потому что она, в сущности, была ему похвалою. Но Салтыков действительно сердился в это время.

“Страх, который внушал Салтыков робким людям, – говорит г-н Скабичевский, – происходил главным образом от двух его достоинств: крайнего прямодушия и нервного отвращения ко всему фальшивому и неискреннему. Как только он видел что-

либо подобное, его сейчас же начинало коробить, он не мог не высказать человеку в глаза того впечатления, которое тот на него производил, и высказать со всем тем саркастическим остроумием, которым он был наделен. Не гнев его был страшен, а, скорее, те шуточки, которыми он способен был уничтожить собеседника... Но зато если Салтыков усматривал в человеке природный ум, честность и искренность, он делался с таким человеком крайне мягок, деликатен, любезен и вполне откровенен”.

Я. В. Абрамов также опровергает разные нелепые слухи, ходившие относительно Салтыкова, и говорит, что он является в его воспоминаниях “чрезвычайно мягким, добрым и глубоко симпатичным человеком”, что он всегда встречал в нем “внимательного и заботливого человека”, интересовавшегося как его занятиями, так и “материальным положением”, и что таково же, насколько он мог заметить, “было его отношение и ко всем другим сотрудникам”. То же говорит и г-н Южаков. То же самое, разумеется, сказал бы и я, и не знаю – сказал ли бы лучше, а потому посмотрим на черты его характера, менее подчеркнутые и не так резко бросающиеся в глаза.

Несмотря на свою прямоту и суровость, он был в отношении сотрудников и людей, которых знал или которые ему казались искренними, замечательно деликатен. Я уже указывал выше, как он умело вел редакторское дело, не оскорбляя литературных самолюбий, едва ли не самых болезненных в мире, с которыми ему приходилось постоянно встречаться. А между тем в то же время он всегда указывал людям их ошибки и промахи, нисколько не стеснялся высказывать неприятные истины прямо в глаза. Делалось это, несмотря на кажущуюся внешнюю резкость, в такой сердечной, чисто товарищеской форме, что люди не обижались, а если и обижались, то чувствовали, что не вправе сердиться: на его стороне была правда и самая задушевная доброжелательность. Человек чувствовал, что его не желают вовсе оскорбить, а просто говорят ему то, что следует и чего от других он во веки веков не услышит и ни за какие сокровища не купит. Если бы Салтыков оказался неправ и кому-нибудь незаслуженно причинил обиду, то это, наверное, долго его мучило бы.

В тех случаях, когда нечто подобное происходило или когда он только предполагал, что человек мог обидеться, он всегда извинялся перед ним и говорил: “Вы, пожалуйста, на меня не сердитесь”, “Пожалуйста, извините, но, право, я не хотел вас обидеть”. Морщился он при этом, неприятно было ему сознавать свою неправоту, но, тем не менее, извинялся всегда с самым чистым сердцем, потому что сердце у него было действительно чистое, чуждое каких-либо дурных чувств против ближнего. После

каждой горячности и крупного разговора он обыкновенно становился очень мягок, точно смотрел: не обидел ли кого и не нужно ли загладить обиду.

В обращении с людьми Салтыков был совершенно одинаков, как бы ни была велика разница в их общественном положении: был ли перед ним богач или бедняк, граф, князь, генерал или простой мещанин и разночинец в длинных сапогах и ситцевой рубашке, – со всеми он говорил одинаково. Он различал людей только по их достоинствам и внутренним качествам, когда узнавал их ближе: одни ему нравились, одних он любил или уважал и относился к ним замечательно хорошо, других, наоборот, совсем не уважал и не любил, и скрыть этого уже никак не мог. Его так и тянуло или посмеяться и сказать что-нибудь неприятное такому человеку, или уйти от греха, уйти от того неприятного впечатления, которое тот на него производил. Были некоторые посетители и посетительницы, заходившие в редакцию по какому-нибудь делу, которых он просто не выносил и при одном их появлении сейчас же замолкал, начинал на них коситься и всячески избегать разговора. “Не угодно ли вам поговорить (с ним или с ней)”, “Примите чашу сию, а я просто не могу”, – говаривал он иногда кому-нибудь из сотрудников или начинал спрашивать: “Как вы думаете, скоро они уйдут?”

Не могу не рассказать, как он в некоторых случаях стеснялся возвращать рукописи. Помню, раз через меня поступила в редакцию рукопись одной моей знакомой писательницы, человека очень скромного и малоизвестного. Это было в самом начале моего сотрудничества в “Отечественных записках”. Я в то время жил в Лесном и не каждый раз бывал в редакции; а потому в назначенный срок, через две недели, сказал знакомой, чтобы она сама зашла за ответом. Салтыков никакого ответа ей не дал, а сказал только, что желает видеть меня и что через меня же и даст ответ. Несколько дней я был занят и в городе не был, а потому не был и у него. В воскресенье получаю от него письмо: непременно просил приехать завтра в редакцию. Приезжаю, отводит меня в сторону и говорит:

– Послушайте, должно быть, эта ваша знакомая – очень хороший человек. Это по рассказу видно, но что делать: рассказ то ведь плох, не по мысли, а в литературном отношении. Она тут была в прошлый понедельник. Отказать – язык не поворачивается: может быть, она нуждается и надеялась на эту работу; в рассказе у нее такое знакомство с нуждой, что, верно, она сама ее испытала или испытывает... А с другой стороны, и нам тоже как-то неловко слабые вещи принимать. У нас их и без того достаточно. Сделайте одолжение, снимите с меня эту тягость и

скажите ей об этом как-нибудь так, чтобы она не обиделась. Когда знаешь человека, то это как-то лучше выходит. А если ей деньги нужны, то можно выдать: что-нибудь другое напишет, может быть, удачнее выйдет.

Вспоминаю также случай деликатности со мной, тоже отчасти касавшийся денежного вопроса. Нашла раз на меня проруха: написал я рецензию на сочинение Чичерина о немецких социалистах – К. Марксе и Лассале. Рецензия эта, несмотря на то, что была чисто теоретической, не понравилась в цензуре... Прошло года три или четыре, Чичерин как-то опять проявился на московском небосклоне с вышеуказанным сочинением и кандидатурой на должность московского городского головы, а я, не прельщаясь наделавшею тогда эффекта его речью, расширил свою рецензию в статью и пустил ее под другим названием, надеясь, что через такое значительное время она пройдет. Книжка была послана в цензуру, и срок получения разрешения истекал, по обыкновению, к редакционному дню, как это приноравливалось для удобства раздачи гонорара и новых книжек сотрудникам, а также для отбора материала в следующую книжку. Прихожу я в редакцию, ничего не подозревая; Салтыков любезен, как-то даже особенно ласков и говорит, что книжка вышла; то же повторяют и другие; то же говорит и конторщик, раздавая деньги сотрудникам. “Получите, – говорит, – и вы”. Я получил, сколько причиталось, и расписался. Спрашиваю: а где же книжка, нельзя ли получить экземпляр? – “Сейчас, – говорит, – ее принесут”. Затем посидели некоторое время, поговорили о текущих делах, приходили посетители, словом, все шло своим чередом, и я ничего не замечал. Наконец Салтыков распрощался и уехал, а как только он уехал, так вдруг откуда-то появилась и книжка. Смотрю, моей статьи в ней нет... Салтыков, не желая меня огорчать или, лучше сказать, видеть моего огорчения, просил всех не говорить мне об этом, пока он не уйдет из редакции. Он по себе знал, насколько это огорчительно, а с другой стороны, и статья ему нравилась. Мне действительно было очень неприятно и жаль статью, а затем и положение мое относительно гонорара вышло довольно неловким: я уже получил раз деньги за исключенную рецензию, а теперь вторично получал, в сущности, за ту же самую работу, которая тоже не пригодилась журналу. Выходило так, как будто я обладаю какой-то сказочной ценностью, которая другому не дается и постоянно ко мне же возвращается. К тому же денежное мое положение было вовсе не плохим: кроме платы за статьи, я получал еще от редакции хорошее жалованье. Видя, что конторщик уже ушел, я, когда возвращался домой, зашел в контору и предложил ему деньги

обратно, но получил в ответ, что он сделать этого никак не может, потому что Салтыков приказал не брать от меня денег: “Не велел, – говорит, – сказывать вам, что статья исключена, и книжку не велел показывать, покуда денег не получите, а потом денег назад не велел брать”. Значит, он и тут уже распорядился. Говорил я ему потом об этом раза два, но он и слушать не хотел, повторяя только одно: “Ах, как это скучно, право. Ведь и во второй раз вы работали над статьей, не сама же она написалась, следовательно, не о чем тут и говорить; если же не хотите брать денег или у вас их так много, что некуда девать, так отдайте кому-нибудь”. Положение мое в данном случае было, впрочем, совсем не исключительным: все статьи, раз принятые редакцией, оплачивались, даже если почему-нибудь – “по независящим” или иным причинам – и не были напечатаны.

Вообще, в денежных вопросах и делах с пишущей братией Салтыков был гораздо более щедр, чем это могло показаться по скромности его личных потребностей и тем случаям, когда он начинал ворчать при выдаче некоторых авансов. Он при этом легко мог производить впечатление человека скупого и прижимистого и относительно непроизводительных трат, предметов роскоши и бестолкового разбрасывания и раздачи денег действительно был прижимист. Не походил он также и на поэта, живущего постоянно в эмпириях и не знающего счета деньгам. Он был просто по-крестьянски домовитым человеком, желал, чтобы и самому в старости не нуждаться и умереть с уверенностью, что и семья тоже не будет нуждаться. И все это на почве труда, энергии и бережливости. Желал он того же и другим, и мало того, что желал, а считал это даже необходимым для каждого и беспокоился, когда кому-нибудь не удавалось достигнуть хоть самого небольшого достатка, или сердился, когда видел, что человек живет бестолково и не думает о будущем. Он постоянно выдавал авансы, и авансы значительные; мало того, сам даже предлагал иногда денег, когда узнавал, что люди нуждаются, и предлагал людям, которых мало знал, лишь бы только они были писателями, и из писаний их было видно, что они люди порядочные.

Я только что привел один такой пример со знакомой писательницей, хотя она предложением и не воспользовалась. Другой такой же пример рассказывает г-н Абрамов про себя: Салтыков совсем его еще не знал и в первый раз видел (только одна первая статья его тогда была напечатана в “Отечественных записках”), а между тем, узнав из разговора, что он едет с небольшою суммою в дальнюю дорогу, сам предложил ему “порядочный аванс”, какой тот назначил. Наверное, были и

можно припомнить и другие подобные же случаи. Г-н Абрамов совершенно верно говорит, что если не все, то почти все сотрудники “прибегали постоянно к этим авансам, а некоторые так и не выходили из долгов”, что, “кажется, не проходило редакционного дня без того, чтобы кто-нибудь не обращался за авансом” и что “отказа никогда не было”. Салтыков не любил только “бесконечных” авансов, как называл он те случаи, когда человек, не давая долго статей, чуть ли не каждый месяц атаковал его просьбами, и не любил также слишком маленьких выдач, которые только усложняли счета. Арендуя “Отечественные записки”, он мог бы получать от издания гораздо больше, если бы, подобно другим издателям, меньше думал об интересах пишущих.

Он всегда порицал маленькие гонорары, существующие в некоторых изданиях для людей начинающих и малоизвестных, и всегда назначал плату не ниже, а выше, чем в других журналах, а затем с течением времени плата эта повышалась. В некоторых случаях гонорары “Отечественных записок” достигали очень больших размеров. Некоторые сотрудники получали больше, чем Салтыков: я помню время, когда расчет ему производился по 200 рублей за лист, а другие получали по 250 рублей. Потом они сравнялись. Случайные статьи известных писателей также иногда оплачивались дороже. В числе сотрудников всегда было несколько человек, которые получали постоянное жалованье. В случае болезни или каких-либо житейских передряг жалованье это сохранялось за ними долго или выдавалось их семьям. Долги сотрудников, когда их положение оказывалось плохим, постоянно “прощались”. Когда “Отечественные записки” закрылись, то многие оказались должны журналу, и все эти долги были списаны; кроме того, почти все, кто постоянно работал для журнала и жил текущею работой, получили по несколько сот рублей, что дало им возможность перебиться до приискания новой работы.

В домашней жизни Салтыков был исключительно заботливым семьянином и нежным отцом, хотя тоже часто ворчал и на жену, и на детей. Отношение его к семье отлично обрисовывается в коротеньком предсмертном письме к сыну. Вот полный текст этого письма:

“Милый Костя, так как я каждый день могу умереть, то вот тебе мой завет: люби мать и береги ее; внушай то же и сестре. Помни, что ежели вы не сбережете ее, то вся семья распадется, потому что до совершеннолетия вашего еще очень-очень далеко. Старайся хорошо

учиться и будь безусловно честен в жизни. Вот все. Любящий тебя отец. Еще: паче всего люби родную литературу и звание литератора предпочитай всякому другому”.

В письме к В. И. Лихачеву, вскрытом после смерти, но приготовленном еще в октябре 1887 года, когда вследствие усилившихся припадков болезни Салтыков почувствовал, вероятно, что смерть была недалеко, также с замечательной заботливостью и предусмотрительностью говорится о семье и детях. Он просит В. И. Лихачева как “будущего попечителя” детей оградить их от всяких случайностей, высказывает желание, чтобы сын по выходе из лицея поступил на службу, предусматривает даже такие подробности, как устройство ему каникул в том случае, если семье понадобится летом отправиться за границу, и говорит в заключение: “...вообще, я умоляю обратить внимание на мою семью”. Выдержки из этого письма приведены в материалах для его биографии, собранных К. К. Арсеньевым. Не менее интересны также письма его к детям, писанные весной и летом 1880 и 1881 годов, когда они с матерью были за границей, а он оставался временно в Петербурге. Сыну его в 1880 году было около девяти лет, дочери – около семи.

“Доношу вам, – говорится в письме от 12 мая 1880 года, – что без вас скучно и пусто. Когда вы были тут, то бегали и прятались в моей комнате, а теперь такая тишина, что страшно. И еще доношу, что куклы ваши здоровы и в целости. Им тоже скучно, что никто их не ломает. А еще доношу, что сегодня Арапка (только что оперившаяся канарейка), когда я вошел в игральную, сел сначала мне на плечо, а потом забрался на голову, и не успел я оглянуться, как он уже сходил. Вот так сюрприз. Что же касается до Крылатки, то она еще совсем голенькая, но мать начинает уже летать от нее. Ни конфет, ни апельсинов после вашего отъезда в Петербурге уж нет; все уехали следом за вами в Баден. Я думаю, что вы уж возобновили с ними знакомство. Будьте умники и учитесь. Пишите ко мне что вздумается, но непременно пишите. Я буду прятать ваши письма, и, когда вы будете большие, мы станем вместе их перечитывать. Целую вас обоих крепко-накрепко. Как только можно будет, прилечу. Не забывайте папу”.

В других письмах Салтыков пишет:

“Дела наши в том же положении. Куколка лежит в кровати и почивает; Арапка летает совсем как большой. Бепка (отец канареечного семейства) обходится с ним как с товарищем... А я все кашляю, и все на старый манер, даже нового ничего выдумать не могу. И скучно мне очень, что не слышу больше вашего

детского милого шума” (17 мая 1880 года). “Советую тебе (дочери) писать по линейкам. Ты еще маленькая, и надо привыкать писать прямо. Попроси маму, чтобы она вас по-немецки говорить приучала: теперь вы легко научитесь, а потом будет очень трудно. Я все дни сижу дома и скучаю. И делать ничего не хочется. Птицы тоже скучают без вас и одичали. Арапка совсем дикий сделался и даже не ночует в клетке, а забирается на карниз на печку” (20 мая 1880 года). “Имею честь доложить вам, что Крылатка вышел из гнезда, а мадам (канарейка-мать) опять начала нести яйца. Крылатка – премиленький, весь в Бепку: желтенький с серым хохолком и серыми крылышками. Лизина кукла все почивает; никак разбудить нельзя” (1880 год, без числа). “Костя! перестал ли ты вертеться? Смотри, приеду, увижу, что ты вертишься, и заплачу. Мадам уже три дня как сидит на яйцах, но сколько яиц – не знаю, потому что как ни придешь, а она все сидит. Скучно она, бедная, лето проводит” (без числа же, 1880 года). “Сегодня *madame* вывела одного маленького, а другое яйцо еще цело. Как назвать новорожденного?...Ковер твоей куклы, Лиза, цел и спрятан от моли; ты можешь быть спокойна. Я очень рад, что ты мне сама, без диктовки, пишешь. Так и вперед делай. Мне хочется знать, что ты думаешь” (9 июня 1880 года). “Я скоро приеду и буду часа полтора каждый день читать и заниматься с вами. Вижу, что вы извольничались без меня, и никто вас не наказывает. А я буду с вами ходить и покупать ягоды и шоколад пить – вот и наказание”... “О каких куклах вы мне пишете? Какие я могу вам привезти отсюда – не лучше ли купить там или в Париже, где куклы красивее и дешевле. Я думаю, что вы и сами, подумавши, согласитесь с этим. Лиза! ты хоть и не поцеловала меня в письме, но я знаю, что это не нарочно случилось, и что ты непременно сейчас же об этом вспомнила и мысленно поцеловала меня. И я тебя, дружок, крепко целую” (без числа, 1880 год).

Остальные письма относятся к 1881 году. В одном из них, от 22 мая, Салтыков обращает внимание сына на почерк:

“Буквы у тебя выходят пузатенькие, с ножками и рожками. Надо получше писать, потому что члену литературного фонда без этого стыдно глаза в свет показать. Лиза гораздо приятнее пишет, и надо ее догонять. Очень я рад, голубчики, что вам хорошо живется. Гуляйте и пользуйтесь случаем, чтобы по-немецки научиться. Научитесь – будете родителей за границей выручать, потому что родители ваши по-немецки не мастера говорить. А мне здесь очень скучно:

целые дни на своем месте сижу и все молчу или кашляю”.

В двух других письмах рассказывается детям сказка о похождениях канареек – Бепки, поступившего в гимназию, Арапки, вышедшей замуж за чижа, и т. д.

В переписке этой достаточно видна душевная нежность Салтыкова, которой многие, конечно, и не подозревали в таком мрачном и суровом на вид ворчуне. Он не только был нежный отец, но еще и “баловник”, делавший такие вещи, каких другие отцы не делают: например, шалости маленького сына, бывшего сначала в гимназии, сплошь и рядом находили в нем защитника, а гимназическое начальство порицалось за мелочность и придирчивость; или, например, затрудняется дочь в сочинениях, и он вдруг сам пишет ей сочинение, и получает она за это сочинение плохой балл.

Я. В. Абрамов рассказывает в “Неделе” (1889, № 19), как однажды был у него с А. Я. Гердом, директором женской гимназии, в которой училась его дочь, и как он, когда кончился разговор о сборнике в память Гаршина, о котором они приходили поговорить, начал добродушно подсмеиваться над преподаванием в этой гимназии русского языка и истории: “Какие у них там темы для сочинений даются, – говорил он, кивая на Герда, – не угодно ли написать сочинение о пустыне и море! Да ни одна из учениц не видела отродясь никакой пустыни, а вместо моря видела только Маркизову лужу (устье Невы) – вот и сочиняй. А то не угодно ли описать Аничков мост!” И Салтыков рассказал анекдот, как будто бы ученицы целого класса явились на Аничков мост изучать его для сочинения и смутили этим стоявших у моста городских. “Я сам уже попробовал написать сочинение для вашего свирепого учителя, – продолжал Салтыков, обращаясь к Герду, – и ничего, слава Богу, получил за свое сочинение тройку!” Учителя истории Герд взял под свою защиту и вступил в горячий спор о целях преподавания истории, но кончилось тем, что Герд ушел в полном восторге от Салтыкова и с увлечением рассказывал потом о своем свидании с ним.

ГЛАВА VI. САЛТЫКОВ КАК МИРСКОЙ ЧЕЛОВЕК

Товарищеская жилка. – Редакционные собрания. – Заботливость относительно “своих” и радость за их успехи. – Случай с иногородним сотрудником. – Отношение к слабеющим литературным силам. – Работа за троих. – Чувство одиночества. – Два слова о “миросозерцании” Салтыкова. – Можно ли было его обвинить в неотзывчивости? – Скромность его домашней жизни. – Несправедливые нападки на Салтыкова “проницательных” читателей

В заключение мне хочется отметить одну чисто народную черту характера Салтыкова: он был артельным, мирским человеком, не в смысле мирского времяпрепровождения или каких-либо развлечений, совершенно для него чуждых, а в смысле склонности жить и действовать артелью, миром, постоянно принимать близко к сердцу общественные интересы. Это тип на Руси вполне определенный и сохранившийся еще до сих пор: из него выходят порицатели общественной неправды и пороков, ходоки, заступники и вообще радетели о мире, личная жизнь которых неразрывно соединяется с мирскою, которые немислимы без мира так же, как растение без земли и птица без воздуха. У него и обличье было чисто русское: схожие лица встречаются и среди помещиков, и у крестьян северных губерний; только такого прекрасного выражения глаз не скоро найдешь. По первому внешнему впечатлению он легко мог показаться нелюдимым, но чем больше вы его узнавали и ближе к нему присматривались, тем для вас становилось очевиднее, что в нем сильно развито общественное чувство, что он именно немислим без мира, что его даже нельзя представить себе в одиночку; прежде всего без кружка близких людей одинаковых с ним убеждений, затем без известного круга читателей, который он постоянно имел в виду, и, наконец, без забот об общественном благе в самом широком значении этого слова.

Заботы об общественных интересах достаточно видны из его произведений, из которых каждое имело общественное значение; но немногим, конечно, известно, насколько в непосредственных литературных отношениях Салтыков был заботливым, верным и прекрасным товарищем, насколько мало стремился он преобладать, властвовать и подчинять себе людей и насколько сам умел подчиняться, насколько заботился о единодушии и общем тоне работ, насколько расположение его к людям, с

которыми свела его судьба, было прочно и насколько он дорожил ими и ценил их. В этом последнем отношении он даже несколько перебарщивал, как зачастую перебарщивают (что, впрочем, совершенно естественно) все общественники, артельщики и даже люди политических партий, считающие дороже и выше всего свою общину, свой монастырь, свою ближайшую среду и относящиеся к остальному миру если не с предубеждением раскольников, то во всяком случае как к чему-то чужому: это вот свои, а то – чужие; это наш, а то – чужанин. Наш может быть и с некоторым изыянцем, да молодец и человек верный, а тот – кто его знает, что такое, может быть, и нечто хорошее, а может быть, и плохое.

Как умного человека это не приводило его к крайности, к заключению, что только и света в окошке, что у нас; напротив, он часто порицал свое, отлично знал его слабые стороны и всегда стремился привлечь к журналу всё новое, мало-мальски даровитое и честное, признавал порядочность и заслуги других как на литературном, так и на иных поприщах, извинял и там ошибки и слабости, лишь бы только не было неискренности, лжи, ренегатства и вилянья хвостом ради каких-либо низменных целей и выгод; но отношение к своему все-таки было несомненно предпочтительным перед посторонним. За своих он всегда готов был постоять, а сознание, что и со своими можно постоять за общие убеждения, доставляло ему большое удовольствие. К посторонним людям он вообще относился как-то искоса, если можно так выразиться: не любил, например, когда посетители, приходя в редакцию, долго засиживались и разговаривали. Вообще, сторонних он не жаловал и, наоборот, очень любил, чтобы сотрудники “Отечественных записок” всегда приходили, и чем больше собирався кружок, тем он становился довольнее и одушевленнее. Как только кого-нибудь не доставало, так сейчас же начинались вопросы: почему не пришел, здоров ли и т. д., а когда замечал, что человек как будто уклоняется от посещений, то всегда узнавал: не рассердился ли он и не обиделся ли на что-нибудь. Я как сейчас слышу его слова: “Отчего вы прошлый раз не были? Что же это мы все врозь будем писать... право, раз в неделю нетрудно ходить”. А если бы кто-нибудь из постоянных сотрудников, участвовавших в чтении рукописей и в текущих отделах, вздумал в редакцию не ходить, то тут, наверное, была бы целая история, и Салтыков и сам замучился бы, и его замучил бы вопросами, записками, объяснениями, а в конце концов, вероятно, поссорился бы. Его беспокоило уже то, когда кто-нибудь из сотрудников переезжал жить из Петербурга куда-нибудь в провинцию, даже в какое-нибудь из ближайших петербургских предместий вроде Лесного. По его мнению, настоящий писатель

должен жить в Петербурге, потому что, живя в провинции, нельзя принимать так близко к сердцу происходящих явлений.

– Это, – говорил он, – уж я по себе знаю; да и по другим тоже: вот Х. живет в деревне – много он пишет? А Z. как переехал в деревню, так черт знает что стал писать.

Ему просто было необходимо, чтобы все собирались, говорили, советовались, чтобы он видел, что журнал есть общее и близкое всем дело. В отрывках из его писем к Н. К. Михайловскому, напечатанных в “Русской мысли”, приведено немало фактов глубокой его привязанности к журналу и заботы о сотрудниках; обо всех он думает, неудачников жалеет, говорит о важности работы согласно общему тону и своему месту, а по поводу неодобренного им полемического фельетона одного из сотрудников высказывает, что “подобные шаги должны быть решаемы сообща, чтобы можно было и впоследствии поддержать полемику, а не отступать”, и т. д.

После его смерти один мало знавший его писатель высказался, что он будто бы имел привычку обо всех заглазно дурно отзываться. Это неправда. Он действительно имел привычку на многих ворчать (в том числе и на себя) по поводам иногда самым незначительным, но и в глаза, и за глаза всегда высказывал одно и то же, хотя, может быть, и не в одинаковых выражениях, причем сплошь и рядом в глаза высказывался гораздо резче, потому что терял самообладание. Мне приходилось слышать его воркотню чуть ли не обо всех и каждом из сотрудников, но я положительно не помню случая, когда дело касалось бы чьей-нибудь чести и доброго имени.

Вы сейчас же чувствовали, что это вовсе не злословие, а скорее, доброжелательство и забота об общем литературном интересе, что это только слишком строгая точка зрения и нервное отношение к тому, что он именно любит и считает своим. Дурно отзывался он только о тех, кто этого заслуживал, но в большинстве случаев он уже не мог спокойно видеть и говорить с такими людьми или только с великим трудом выносил их. В воркотне же его против своих я никогда не мог усмотреть обиды: то он начнет по поводу неаккуратности и небрежности работ уверять, что “у нас всё пишут загадочные, поэтические натуры”, то про сотрудника, путающего свои денежные расчеты, начнет говорить: “это у нас министр финансов”, и т. д.

Зато редко, бывало, кто так скоро заметит, как он, когда кто-нибудь в редакционные дни был скучен или просто не в своей тарелке. По большей части прямо он об этом не спросит, точно стыдится показаться экспансивным или боится не деликатности вмешательства, а кого-нибудь другого непременно спросит:

“Скажите, пожалуйста, что это Н. такой скучный, – болен он, что ли? А как дела его?” Вообще, войти в положение человека, понять это положение и отнестись к нему сочувственно было для него определено какой-то потребностью. Иногда думаешь, что он останется безучастным, а он тут-то именно и распахнет свою душу. Иногда думаешь, что он рассердился, а он тут-то именно и покажет себя настоящим человеком. А какое искреннее удовольствие доставляла ему каждая написанная кем-нибудь хорошая работа: какие восторженные отзывы делал он, например, об “Устоях” Златовратского, которые ему очень нравились, о “Власти земли” Успенского, несмотря на то, что с некоторыми конечными его заключениями был не согласен. Он положительно становился даже как-то горд в такие минуты – и гордостью чисто общественной: “Дескать, все-таки мы впереди”, – хотя преобладающим чувством было, конечно, не это, а чисто художественное и идейное удовольствие, какое он получал. Зато как он оставался недоволен, когда кто-нибудь из сотрудников отдавал статью и появлялся в каком-нибудь другом журнале, кроме “Отечественных записок”. Это было для него настоящей обидой, особенно если он дорожил сотрудником: “Зачем да почему, если недоволен чем, то отчего не сказать? Как это идти в чужое место, да что про нас скажут? Скажут, что мы разгоняем людей” и т. д. Случалось это, впрочем, довольно редко, так как все знали, насколько это Салтыкову неприятно.

В “Отечественных записках” было несколько человек провинциальных и иногородних сотрудников, которых мы и в глаза не видали, и с которыми вел переписку и сношения он сам. Это были преимущественно беллетристы и этнографы, писавшие не постоянно, а время от времени присылавшие свои рассказы, повести и очерки. И ими тоже Салтыков очень дорожил, что можно видеть из той аккуратности, с какой он извещал их о получении рукописей, когда они пойдут, что в них следует, по его мнению, изменить и т. д., и постоянно старался удерживать их в журнале. Помню, как один из этих сотрудников раз огорчил его: он ему только что написал, что прибавляет ему полистную плату (вместо 75 – 100 рублей), – а тот, до тех пор ничего не говоривший о повышении ее, написал, что желает получать по 130 рублей за лист. Позвал меня Михаил Евграфович к себе и рассказал и о своем неудовольствии, и о невозможности исполнить такое требование.

– Очень это мне неприятно, – говорил он. – Молодой еще человек, у нас же начал писать, мы же с ним возимся, а он как на лавку какую-то смотрит: дескать, сами прибавили, так и еще прибавите. Да мы, наконец, и не можем всем столько платить. В

исключительное же положение, право, его ставить нельзя: конечно, он недурно пишет, но так пишут все; тогда придется и другим прибавлять...

Я сказал, что и на меня этот случай производит также неприятное впечатление, и что я вообще привилегированных оплат и положений не люблю.

– Ну, я очень рад, что не один я так смотрю, – сказал Салтыков, прощаясь.

Но каково же было мое удивление, когда в первый же редакционный день я услышал от него:

– А знаете, я написал Х., что согласен на его прибавку: пусть по его будет. Неловко как-то: может быть, у него какие-нибудь расчеты с этим связаны.

Никто не должен был уходить, пока не расходился во взглядах с журналом. Некоторые из этих сотрудников были людьми не особенно даровитыми, и Салтыков возился с ними, исправлял их рукописи, “подкрашивал”, но никогда не отказывал, точно по пословице: “Чем дитя несчастнее, тем матери милее”. Не менее интересно также его отношение к писателям слабеющим. Это один из драматических моментов в писательской жизни: вследствие возраста или каких-либо других внутренних причин, иногда только временных, человек вдруг начинает утрачивать интерес, живость мысли и впечатлительности, начинает писать мало или вяло и шаблонно, точно лапти плести. Это состояние характеризуется выражениями: “стал исписываться”, “стал слабеть”, “не может идти в уровень с жизнью” и т. п.; но определения эти сплошь и рядом бывают ошибочны: человек иногда несколько не стареет и не слабеет, а просто устает работать или переживает какой-нибудь временный душевный упадок. Но как бы там ни было, а сотрудники более живые и энергичные выдвигаются в это время вперед, начинают больше работать, разбирать лучшие темы и вообще действовать, а тот понемногу отстает и переходит в задние ряды. На моей памяти были такие примеры, и Салтыков сейчас же это заметит, ободрит человека, придумает или попросит других приискать ему работу, так что тот иной раз и не подозревает, кто о нем думает, и, смотришь, человек опять входит в колею и начинает работать несколько не хуже прежнего да и не хуже других.

Я не могу сказать, чтобы я пользовался каким-нибудь особенным расположением Михаила Евграфовича, я был простым рядовым сотрудником и потому-то с тем большим основанием могу утверждать, что отношения эти были больше, чем обыкновенными деловыми хорошими отношениями, что это были именно отношения мирские, когда вы чувствовали, что

составляете часть чего-то целого, на что можете опираться, и сознавали, что вас не вышвырнут в один прекрасный день, как из машины негодный винт, на улицу. Случались, конечно, между Салтыковым и нами, сотрудниками, недоразумения и пререкания, но все это обыкновенно очень скоро кончалось, и если ему принадлежало, так сказать, начало взаимного неудовольствия, то в большинстве случаев ему же принадлежало и окончание его: он объяснялся при первом же случае или даже нарочно ехал к обидавшемуся и говорил, что “так и жить нельзя, если ничего сказать нельзя”, и совершенно забывал о своем недовольстве, забывал действительно без остатка, так что недоразумения эти были чисто домашними и никаких последствий не имели. Вообще, нужно правду сказать, мы тяготились слушать его воркотню, обижались за его порою резкое слово, за которым не было дурного чувства и которое только выражалось в резкой форме, не принимали в соображение его нервности, болезненности и огромных трудов, которые на нем лежали. Положим, что он сам их на себя накладывал, но мы все-таки гораздо меньше его работали и гораздо больше жили другой жизнью. Мы стеснялись ходить к нему, а вследствие этого он часто чувствовал себя одиноким, и это его ужасно обижало и причиняло ему нравственную боль. “Я один, все меня забыли, никто ко мне не ходит, или ходят только по делу”, – вот его постоянные жалобы в последние годы. А жить один он нисколько не мог; он не только не любил единолично решать разные общие вопросы, но ему просто необходимо было с кем-нибудь предварительно поговорить и посоветоваться: “Если вам не о чем советоваться, если вы все так счастливо решаете, то мне нужен совет”. Прежде он всегда и больше всего советовался с Г. З. Елисеевым. Кажется, достаточно было и одного такого опытного и дальновидного советчика, но он в то же время советовался также и с Н. К. Михайловским, заступившим место Некрасова; но и этим не довольствовался, а советовался и с другими. Обычная его фраза: “Как вы думаете, а?” – всем, вероятно, памятна. Когда Елисеев заболел в 1881 году и должен был надолго отправиться за границу, а Михайловский выехал из Петербурга, то положение его стало особенно трудным. В последние два года перед закрытием “Отечественных записок” чаще других ходили к нему я, А. Н. Плещеев (бывший секретарем редакции) и А. М. Скабичевский, и все-таки он постоянно жаловался: “Вы знаете, что я никуда почти не могу сам ездить, потому что болен; поэтому надо ко мне чаще ходить. Разве я виноват, что болен?... А у меня между тем никто не бывает”. Ему нужны были не просто знакомые, которых у него было достаточно, а именно

литературные, и из литературных – свои люди, причастные к журналу. Если литература была для него дорогою областью, то они в ней были наиболее дорогими людьми, около которых постоянно вращалась его мысль. Это я говорю на основании многих фактов.

– Что это мы с вами встретились, точно *чужие*, – сказал он раз, после того как мы несколько лет не виделись и как сам же он, вместо того чтобы как следует поздороваться, стал сначала выговаривать мне за то, что я ему не писал.

Не чужими, а своими были ему все, кто работал в “Отечественных записках”.

Иногда сущие недоразумения и неумение самого Салтыкова выразить то, что он хотел, были причиною, что к нему некоторые неохотно шли. Помню, например, такой случай. Говорю я одному из сотрудников, про которого он часто вспоминал, почему тот не зайдет к нему, а тот мне отвечает:

– Как я к нему пойду... Представьте, прихожу в последний раз. “Ну, здравствуйте, садитесь”, – говорит, как вдруг в это время кто-то позвонил, а он и говорит: “А вот и еще черт кого-то принес”.

Я глубоко убежден, что Салтыков не хотел этого сказать, что сорвавшаяся у него фраза не только не имела отношения к собеседнику, но даже и к тому, кто вновь пришел, а просто выражала досаду, что помешают поговорить с человеком, которого он хотел видеть; между тем фраза вышла такой неудачной, что стала источником обиды. Помню еще такой случай. Однажды я пришел к нему как раз после многолюдной компании знакомых (не литературных), которая только что ушла от него, и услышал от него следующее:

– Боюсь, как бы эти господа на меня не обиделись... Представьте: то не едут, не едут целые месяцы, а тут вдруг все сразу пожаловали, сидят и разговаривают между собою, хохочут, а я слушаю. Ну, вот я и сказал им это, а они вдруг взяли шапки да уехали. Право же, я не хотел им ничего обидного сказать, а просто хотел только выразить, что гораздо лучше они сделали бы, если бы не сразу приезжали, что мне приятнее было бы видеть их порознь и чаще, самому говорить с ними, чем слушать их разговоры между собою.

Припомню еще несколько фактов, характеризующих его со стороны, о которой я говорю: со стороны склонности жить и действовать миром. Он это исповедовал не только лично, но и предъявлял к другим, и предъявлял не только при их жизни, но даже после смерти. Когда умер Некрасов и завещал похоронить себя в Новодевичьем монастыре, то надо было видеть, как

Салтыков сердился за это на покойника.

– Вот видите, – говорил он на панихиде, – не захотел со всеми на Волковом кладбище быть, а выделиться захотел. Я, дескать, такая величина, что не хочу со всеми лежать. А не все ли равно где лежать; между тем для общества это значение имеет. Он вот и при жизни такой же был: все один, все в особинку да втихомолку.

И несколько раз Салтыков повторял на разные лады то же самое. Видимо, это его очень огорчало, и он никак не мог взять в толк, как это “такой умный человек и мог сделать такое распоряжение”. Потом он стал даже иронизировать над Некрасовым...

Словом, и после смерти нужно быть со своими.

Еще факт: пришел я к нему незадолго перед смертью и застал его в самом тяжелом состоянии: сидел он в кресле перед письменным столом, закрыв глаза, ничего не говорил и тяжело дышал. На измученном лице лежали следы страданий жизни, уступающей смерти. Смотреть и то было тяжело. Поздоровавшись, я посидел минут пять и спросил: не обременяю ли его своим приходом?

– Нет, – сказал он, – пожалуйста, посидите и расскажите что-нибудь, а мне трудно говорить.

Что же, думаю, рассказать ему? Ничего для него нет интереснее литературы, а потому стал рассказывать об устраиваемемся литературном вечере, в котором принимает участие и Н. К. Михайловский. Как только я произнес его имя, Салтыков вдруг открыл глаза и сердито сказал:

– И зачем он с ними связывается?... Там и писателей-то, кроме него, нет.

– Как нет? – сказал я и назвал несколько старых, известных фамилий.

– Какие же это писатели, это просто... (тут было сказано обычное крепкое словечко).

Свои не должны были смешиваться с кем попало.

В печати “без направления” и направления зазорного несколько раз говорилось, что будто бы у Салтыкова не было определенного миросозерцания, что он не был человеком партии и будто бы бил иногда “своих”. Уже в самом соединении этих определений есть противоречия: если он не был партийным человеком и не имел определенного мировоззрения, то как могли быть у него “свои”, и, наоборот, если у него были “свои”, то, значит, он принадлежал к известной группе (велика она была или мала – это все равно) и имел сложившееся мировоззрение. Миросозерцание Салтыкова было очень широким и в то же время очень определенным. Юность его приходится на сороковые годы,

когда в русской литературе образовалось два течения – западническое и славянофильское. Он воспитывался на статьях Белинского и, будучи по природе русским и оставаясь им до самой смерти, примкнул навсегда к западникам, то есть стал желать для отечества того, что на западе было жизнью выработано замечательного. Примкнул он, однако, не к большинству западников, занимавшемуся популяризацией немецкой философии, а к небольшому кружку, прилепившемуся к Франции – к Франции не Гизо и Луи-Филиппа, а к Франции Фурье, Сен-Симона, Луи-Блана и Жорж Санд. “Оттуда, – говорил он, – лилась на нас вера в человечество, шло все доброе, любвеобильное и желанное, отсюда воссияла нам уверенность, что золотой век не назади, а впереди нас” (“За рубежом”). Он еще в лицее читал этих авторов и увлекался ими, и когда потом в Вятке собирался писать “об идее права” и биографию Беккарии, когда писал “Краткую историю России” и ставил в заслугу Иоанну Грозному его борьбу с боярством на почве местного управления и учреждение судных старост и целовальников, “чтобы лишить областных правителей возможности грабить народ”, когда, участвуя в служебных командировках, ревизиях и комиссиях, высказывался даже в официальных бумагах за свободу личности, экономическое благосостояние народа, вред полицейского всевластия и бюрократической централизации и стоял за необходимость общественного контроля и местного самоуправления, то во всем этом уже сказывались социально-политические идеи этих писателей, не просто на веру взятые, а продуманные и согласованные с русской действительностью. Идеи эти как нельзя более гармонировали с его чисто русскими общинными склонностями. Он и в последние годы, будучи уже стариком, много раз вспоминал в разговоре об этих писателях, хотя с практической стороной учения Фурье (например, с устройством фаланстеров, и т. п.) далеко не был согласен. Признавая и высоко ценя общие положения, всю практическую часть он ставил в зависимость от времени, развития и желания людей и скептически относился к возможности раз навсегда придумать формы жизни. Как русский народ, выработав общинный порядок и храня его как главную основу своего быта, остановился на известном расстоянии от перехода в коммунизм и от поглощения общиной личности, так и он – и инстинктивно, и путем высшего процесса мысли – также остановился на известном расстоянии от категорических форм, которые могли бы быть придуманы на вечные времена, остановился во имя той же свободы личности, предоставляя ей самой устраиваться в частностях. “Истина, несомненно, здесь, в этой стороне, – говорил

он, – но можно ли назвать формы жизни, придуманные хотя бы и великими людьми, окончательными? Прекрасные, справедливые и удобные для данной эпохи, не превратятся ли они в прокрустово ложе для будущего?” В частном письме к одному из писателей, отрывок из которого приводит г-н Арсеньев в “Материалах для биографии Салтыкова”, он говорит:

“Мне кажется, что писатель, имеющий в виду не одни интересы минуты, не обязывается выставлять иных идеалов, кроме тех, которые исстари волнуют человечество. А именно: свобода, равноправность и справедливость. Что же касается до практических идеалов, то они так разнообразны, что останавливаться на этих стадиях – значит добровольно стеснять себя. Я положительно уверен, что большее или меньшее совершенство этих идеалов зависит от большего или меньшего усвоения человеком тайн природы и происходящего отсюда успеха прикладных наук. Фурье был великий мыслитель, а вся прикладная часть его теории оказывается более или менее несостоятельной, и остаются только неумирающие общие положения. Это дало мне повод задаться более скромною миссией, а именно: спасти идеал свободного исследования как неотъемлемого права всякого человека и обратиться к тем современным основам, во имя которых эта свобода исследования попирается”.

Чем обстоятельства, в каких приходилось действовать Салтыкову, были труднее, тем, само собою разумеется, приходилось дольше стоять на общих положениях, тратить больше сил и времени на подготовительную работу, “на корчевку старых пней”, как он выразился однажды в разговоре с одним из сотрудников, и отодвигать положительный идеал дальше; но, тем не менее, он никогда не упускал его из виду, и все его отрицание клонилось к осуществлению и уяснению этого идеала, к водворению в жизнь общих положений, которые самым тесным образом с ним соединялись и входили в него.

Когда говорят, что Салтыков будто бы не щадил “своих” и бранил и смеялся над всеми одинаково, то для этого нужно представлять доказательства, которых обыкновенно не представляют, потому что их трудно найти, но если бы что-либо подобное и было найдено в его сочинениях, то это еще ничего не доказывало бы, потому что и “свои” могут ошибаться и заблуждаться и заслуживать порицания, а еще чаще чужие могут взять ваши идеи, особенно наиболее слабые, и компрометировать

их неудачным применением или прямо искажать и предавать поруганию одним своим прикосновением. Человек с меньшим умом и практической выдержкой мог бы очень много написать про “своих” и про молодое поколение, тесно с ними соприкасавшееся. Много было смешного, ошибочного, претенциозного и лично оскорблявшего Салтыкова, но он никогда не терял самообладания. Сколько смешного рассказывал он, например, про одну фельдшерицу, отправившуюся по земскому приглашению на борьбу с сифилисом; но, зная, что этот факт частный, и боясь, что им могут воспользоваться противники женского образования, – и не подумал смеяться над ним печатно. Сколько неприятных писем и объяснений ему приходилось иметь с молодежью, но, зная, что перед ним не всё молодое поколение, а только наиболее нетерпеливые единицы, – ни строки дурной не написал о молодом поколении и сохранил к нему любовь и веру. Надо было знать, насколько непосредственно могли раздражать его некоторые факты и положения. Одно время (в середине 70-х годов) положение Салтыкова было просто нестерпимым: с одной стороны, им постоянно были недовольны так называемые “сферы” и цензура, а с другой – его бранили молодежь и публика за то, что он недостаточно последователен, не то пишет и не то делает что нужно и т. д. Это уже потом ему стали посылаться многочисленные адреса, а вначале читатель к нему был очень строг, порою просто даже немилосерден. Так, например, его постоянно звали читать в пользу чего-нибудь, участвовать в литературных вечерах; он отказывался, его бранили, не желая знать никаких извинительных причин и объясняя отказ исключительно нежеланием и его неотзывчивостью к добру. Между тем он часто не мог читать просто по болезни, не говоря уже о том, что для него появляться на эстраде и читать публично было чистую мукою.

– Вот вы посидите да послушайте, как я кашляю, – говорил он иногда приглашающим, – тогда и увидите, могу ли я читать.

Кашель Салтыкова действительно продолжался иногда минут 5-10 подряд и не давал ему слова сказать. Но отвечать так и представлять такие аргументы можно было только в спокойном, хорошем настроении, а в другое время можно было говорить просто “не могу, не пойду”, а так как говорил он это по обыкновению сердитым тоном, то это также ставилось ему в вину. Затем Салтыкова считали чуть ли не миллионером и постоянно осаждали просьбами о пожертвованиях на разные благотворительные цели. Он давал сколько мог, а иногда и отказывал, и опять его бранили, как за отказ, так и за то, что неохотно де раскошеливается и ворчит сначала при этом.

Состояние Салтыкова было очень невелико и поправилось только за последние годы, когда возросла подписка на “Отечественные записки” и когда стали расходиться его сочинения отдельными изданиями. Служил он по необходимости, работал в литературе также далеко не по одной только охоте. В “Отечественных записках” он получал сначала не особенно много для семейного человека его круга, живущего в Петербурге; а в “Современнике”, дела которого в то время были не очень блестящи, он имел только 150 рублей в месяц и сам говорил мне, что должен был как вол работать и перебиваться рецензиями. Это и заставило его искать опять места и вторично поступить на службу, до последней отставки. О семье своей он действительно думал, желая оставить ее обеспеченной, но в личной своей жизни, повторяю, отличался большой скромностью: даже больной, он не имел отдельной прислуги; кабинет его, где он главным образом и жил, отличался замечательной простотой, и т. д. Опасаясь “полуголодной старости”, он работал до самой смерти и имел полное право написать слова, которые мы приводили уже выше: “Могу смело сказать, что до последних минут вся моя жизнь прошла в труде и только когда мне становилось уж очень тяжело, я бросал перо и впадал в мучительное забытие”. В 1888 году, когда я его спросил, как он себя чувствует, он мне ответил:

– Уверяю вас, что каждый день ложусь с неуверенностью, что проснусь утром.

И, тем не менее, он и в это время работал. Одним словом, материальное положение Салтыкова в то время, о котором мы говорим, вовсе не было таким блестящим, как об этом думали осаждавшие его просьбами. На некоторые просьбы он почти никогда не отказывал, хотя также считал нужным поворчать.

Я. В. Абрамов рассказывает, как они с Гердом ходили просить его принять участие в литературно-художественном сборнике “Памяти В. М. Гаршина”, то есть попросту, чтобы он дал что-нибудь даром в сборник, выручка с которого предназначалась на доброе дело, в память покойного. Нужно заметить, что В. М. Гаршин был сотрудником “Отечественных записок”. На нашу просьбу, говорит Я. В. Абрамов, Салтыков ответил самым решительным отказом: “Не могу и не могу!.. У меня глаза болят... Я писать ничего не могу... Да и что там за сборник такой! Что это за манера – только умрет писатель, сейчас ему вдогонку сборник!” Герд заметил, что было бы очень приятно, если бы каждому умершему писателю “вдогонку” посылалась товарищами книга, сбор с которой шел бы на хорошее дело; но Салтыков и слышать ничего не хотел: “И что выйдет из вашего сборника? – продолжал он. – Вот против меня букинист Клочков, – у него все

сборники, и ваш там же будет... Да и где мне писать?" – "Я знал, – говорит Я. В. Абрамов, – чем кончится вся эта тирада, и потому ждал молча. Но А. Я. Герд, незнакомый с приемами Салтыкова, сконфуженно поднялся и стал извиняться за причиненное нашим визитом беспокойство, обнаруживая намерение уйти. Едва Салтыков это заметил, как тотчас же переменил тон: "Да что вы это? Куда вы? Да неужто вы думаете, что я откажусь от общего дела?... Я дам все что могу. Вот у меня есть кое-что, берите что хотите! Самое лучшее – возьмите вот эти сказки". И он подал несколько не напечатанных своих произведений. Исполнять же все просьбы всех благотворительных обществ, кружков, разных дамских комитетов и т. п. очень трудно. В этом отношении у нас дело стоит вообще довольно любопытно: когда, например, писатель осуществляет издание, то всегда получает массу просьб пожертвовать это издание или прислать его "по удешевленной цене". Пишут библиотеки, больницы, школы и т. д., не исключая и частных лиц. Во многих местах заведены для этого даже специальные печатные бланки. Если бы писатель удовлетворил все просьбы, то в некоторых случаях легко могло бы случиться, что ему самому ничего не осталось бы; но нередко он даже не может сам распоряжаться своим изданием, так как издает его не он, а другое лицо, которому он его продал. Между тем этого никак понять не могут и пишут претензии, выговоры, упреки за то, что слово не согласуется с делом, что на словах одно, а на деле другое, и т. д. Салтыкову немало приходилось выслушивать подобных упреков, и я знаю случаи, когда он сам покупал свои же сочинения, чтобы послать кому-нибудь... Но этого рода упреки были еще не так обидны, как упреки другого рода, упреки чисто принципиальные и нравственные, которые также приходилось выслушивать, причем по поводам сплошь и рядом самым неосновательным. Так, например, его звали на студенческие сходки. Я воображаю Салтыкова на студенческой сходке. Он, впрочем, не обижался, но когда ему приходилось выслушивать упреки за свою литературную деятельность, когда ее неправильно истолковывали, вернее ее направление и его мысли о молодом поколении, и в особенности, когда упреки шли со стороны самой молодежи, то это его очень огорчало. Я знаю случай, когда Салтыков, получив одно такое несправедливое и резкое обвинительное письмо, заплакал. И, тем не менее, он никогда не обмолвился не только дурным, но даже просто раздражительным словом против молодого поколения как такового. При его нервности и раздражительности такая выдержка говорит только о его большом уме и прочности его убеждений. Я уверен, что не

одно, а несколько молодых поколений придут на салтыковскую могилу и вспомнят его добрым словом. Это один из замечательных людей эпохи преобразований, которая целиком отразилась в его произведениях со всеми нашими недугами и слабостями.

Умер М. Е. Салтыков 30 апреля 1889 года и похоронен на Волковом кладбище.

notes

Примечания

Такую же деятельную роль по устройству местной выставки в Вятке, лет за 15 перед тем, играл Герцен.

Желающих подробнее ознакомиться с содержанием этой любопытной записки отсылаем к статье К. К. Арсеньева, которой мы пользуемся при изложении сведений о служебной деятельности Салтыкова и которая приложена к IX тому его сочинений (изд. 1890 г.).

В бумагах Салтыкова сохранилась рукопись “Замечаний на проект устава о книгопечатании”, выработанных в то время особой комиссией при министерстве народного просвещения под председательством князя Д. А. Оболенского. Разбирая этот проект (впоследствии пересмотренный другой комиссией при министерстве внутренних дел и тогда уже послуживший основанием закона 1865 года), Салтыков сообщает между прочим и об отказе ему в издании журнала. Отказ мотивировался министром народного просвещения, к которому тогда поступали прошения об изданиях, тем, что “так как рассматриваются новые законоположения о книгопечатании, то и принято за правило до окончания этого дела не разрешать новых журналов”. Между тем, замечает Салтыков, “с тех пор разрешено немало-таки новых журналов”, несмотря на то, что новые законоположения все еще не рассмотрены.

“Вестник Европы”, 1889, № 10, 11 и 12.

Подмосковное имение Салтыкова находилось в Дмитровском уезде. Для покупки его он занял у матери 20 тысяч рублей, из которых 16 тысяч выплатил ей самой, а остальные 4 тысячи после ее смерти, по завещанию, кому-то из сонаследников. Второе имение находилось в 16 верстах от Ораниенбаума.